

Александр Суконик

**Спаси нас,
доктор
Достойевски!**

Александр Суконик

Спаси нас, доктор Достойевски!

«Языки Славянской Культуры»

Суконик А. Ю.

Спаси нас, доктор Достоевски! / А. Ю. Суконик — «Языки
Славянской Культуры»,

Эта книга о выборе судеб российскими интеллигентами, о крайности таких выборов, как у нас это часто бывает: либо эмиграция, либо уход в национализм. Выбор иссушения рационализмом, или полный отказ от рационального подхода к действительности во имя сохранения междусобойной душевности. Еще эта книга – анатомия эмиграции семидесятых годов из Советского Союза, книга об исчезнувшем мире шестидесятников, то есть, можно сказать, историческая, или же ископаемая книга. Электронная версия данного издания является собственностью издательства, и ее распространение без согласия издательства запрещается.

© Суконик А. Ю.

© Языки Славянской Культуры

Содержание

ЧАСТЬ 1	5
Конец ознакомительного фрагмента.	39

Александр Суконик

Спаси нас, доктор Достоевски!

ЧАСТЬ 1

Приготовление к роману Имитация мемуара

...В возрасте шести лет меня привозят на балет «Спящая красавица», и я ужасно пугаюсь Злой феи. Многие дети на моем месте испугались бы, но я, кажется, иду дальше и изобретаю игру: те люди, которые наиболее добры к мне, – это злые феи, а те, кто враждебен, кого боюсь, – на самом деле феи добрые. Мать наклоняется над кроватью перед сном – автоматическая реакция: вот она, злая фея. Кто-то испугал на улице – тут же мысль: вот самый добрый в мире человек. Игра с двумя выигрышами: сладким ощущением бездонности мыслимого и обезвреживанием внешней опасности. Но не безобидная игра, потому что потеряна способность опереться хоть на что-нибудь. Хоть на какую-нибудь безусловность, хоть на какой-нибудь статус-кво. Теперь неуверенность во всем, которая подталкивает к движению в поиске нового статус-кво. (И скрытая ностальгия по покою, который существовал раньше). Короче говоря: стали левшу переучивать писать правой рукой, и с тех пор всю жизнь путает левую сторону с правой... но не без пользы...

...Какой мне видится теперь довоенная Одесса моего детства? От потери темперамента к старости становишься сентиментален и примирителен. Вижу солнце сквозь листья каштанов, столбики белых цветов на них, Воронцова, обрамленного цепями, льва и львицу в Городском саду. Я всегда не любил Одессу (ее плотскость, провинциальность, ее ненавистное мне остроумие), но те яростные чувства отмерли: Одесса так далеко! Впрочем, яростные чувства начинаются с послевоенного юношества, так что я смещаю времена (результат умственного процесса), и слово «всегда» должно быть взято в кавычки...

...Бонна Юлия Августовна была немка. Несомненно, ленивая и глупая женщина, потому что не научила меня ни слову по-немецки. Вина некультурных родителей: наняли бонну, как было положено по их советскому буржуазному статусу, и не потрудились хоть чуть-чуть расспросить ее. (Братья Хаютины, дети профессора Хаютина из соседнего подъезда, были между тем прекрасно обучены языку *их* бонной). Но не завидую: Юре и Лёле досталась в наследство от родителей культура, мне – первобытные страсти. Ум не может породить страсти, а страсти могут возбудить ум (особенно, если они безвыходные)...

...Вырезали с Юлией Августовной цветные аппликации – единственное, что помню. После войны она пришла навестить нас (жила тогда в доме призрения), такая старушенция, все вспоминала эти самые аппликации. Равнодушное недоумение с моей стороны, к тому же альбомы пропали во время войны. А вот альбом с рисунками сохранился, потому что я взял его с собой в эвакуацию, так что рисунки помню как сейчас: в неправильных пропорциях перерисовка пограничника Карацупы с его псом Джульбарсом огромный мифический самолет «Максим Горький». Ледокол «Челюскин», застрявший во льдах. Позже в этом же альбоме появились рисунки военного времени: летчик Гастелло, врезающийся со своим штурмовиком в колонну немецких войск. Немцы бегут в панике, взрыв, дым. Я научился изображать дым, кроша грифель на бумагу и растирая его пальцем: наслаждение формальным приемом...

...Непосредственное воспоминание о детстве, как о рае. Будто речь идет о крохотной принцессе, сидящей в пестике раскрывшегося цветка и умывающейся росой. Сказочность, только действительно ли первичная? Или начисто придуманная, изготовленная из каких только возможно культурных стереотипов, накопленных за семидесятилетнюю жизнь? Говорят, что память *отсеивает*, а только правда ли это? То есть, наоборот, не присеивает ли? Но главное, что есть в слове «райское», – это неподвижность счастья...

...Написать роман, идея которого – движение. Время действия – советская власть. Странное время искусственного счастья. Как нас будут помнить в будущем, изучая по учебникам, поймут ли этот момент? «Движенья нет, сказал мудрец брадатый. Другой смолчал и стал пред ним ходить». После полутора веков (конец 18-го – начало 20-го) ускоряющегося движения России куда-то и к чему-то (теперь никогда уже не узнать куда и к чему именно) советская система утверждает идею неподвижности. Было отмечено, что на протяжении нашей истории люди, которыми овладевала идея движения, казались чем-то смешны, а те, кто предпочитали статус-кво, каким-то образом умудрялись выглядеть в конечном счете благообразно (царь Николай II; Степан Никифорович из «Скверного анекдота»). Советская власть, взяв это на учет, сделала так, что даже самые ужасные покровители статус-кво более не были ужасны, а превратились в мудрых и благообразных Отцов и Покровителей народа под прикрытием идеи движения к вершинам коммунизма: «речка движется и не движется». Никаким славянофилам и почвенникам из прошлого века даже не снился такой успех, потому что все равно они были на нашем фоне, так или иначе, люди движения и, значит, в чем-то смешны и не солидны. У нас же все становились благообразны (если даже не все становились мудры), и никто более не хотел быть смешон. Граница, за чертой которой люди становились смешны, была придвинута к человеку для его собственного интереса настолько вплотную, что он ее постоянно ощущал, даже может быть всем телом. Например, ктонибудь не выдерживал и рассказывал одному-двум приятелям «эдакий» анекдот, люди улыбались, но этот человек почти тут же получал десять лет срока, так что теперь уже в его адрес законно усмехались и крутили пальцем около головы: мол, стоило ли жертвовать жизнью и благополучием близких ради такого ничтожного жеста. В этом смысле наше общество ушло куда вперед от предыдущего, и советский человек законно гордился собой. В нем было что-то окончательно увесисто зрелое, но стоило ему начать двигаться, он тут же становился несерьезен, даже если он был академик Сахаров. Это теперь Сахарова превратили в монумент, к которому бегут кланяются западные либералы и бывшие гебисты, дебильная толпа телевизионных шоу и всякие там журналисты. Во времена же советской жизни коллеги Сахарова, которые отказывались подписывать его взбалмошные и наивные письма, знали другое...

...Этот человек был дитя искусственного времени, которое изобиловало ужасами, но одновременно было крайне стилизовано и создало стилизованную породу людей, именуемую советским человеком...

...Он принадлежал к специфическому разряду людей, именовавшихся «непечатаемыми писателями». Многие из этих людей эмигрировали в начале семидесятых годов, и тогда печальный юмор их ситуации выявился во всей полноте. Советская изоляция сделала свое дело, Россия жила на уровне детских фантазий. Если кого-нибудь публиковали в заморском университетском сборнике, предполагалось, что этот человек стал на Западе знаменит или, по крайней мере, хорошо известен, и теперь ему там любая дорожка скатертью. С Запада приезжали профессора славистских факультетов, пили и гуляли со здешними непечатаемыми авторами, а заодно набирали материал для своих публикаций, диссертаций и карьер (факт не слишком ими

афишируемый). Но они вовсе не занимались дезинформацией и не приглашали эмигрировать: им это было кроме всего невыгодно, писатели у себя на родине куда большего для них стоили. Эти слависты были членами изолированной академической секты, которая имела мало отношения к культурной жизни их собственных стран, никак на нее не влияла, и потому в нее стекались отнюдь не самые способные люди. Но в России такая довольно очевидная мысль никому не приходила в голову по той простой причине, что они занимались нами, нашей культурой, а разве мы не находились в эпицентре интересов всего цивилизованного мира!?..

...Кто-то в компании говорит: двадцатый век – век перемещенных лиц. Поглядите: много ли среди нас людей, которые родились в этой стране? И, если даже родились здесь, где родились их родители? (Сидим в нью-йоркской квартире, разноязыкая интеллигенция.) Действительно: две войны, два чудовищных режима, и сколько массовых перемещений! Почти все мы дети массовых перемещений, должно это как-то отразиться на наших личностях?...

...Изобразить в романе: 1941 год, июнь. Персонажу романа восемь лет, до сих пор он живет в истинном раю, даже не ходит в детский сад, потому что у него бонна Мария Карловна. Бонна-немка должна учить его немецкому языку, но либо не умеет, либо ленится, видя, что несведущие родители не обращают внимания, так что действительно рай. Так что действительно, спасибо советской власти за счастливое детство, как, кстати, гласит плакат, который висит напротив дома над кинотеатром Горького, изображая счастливого товарища Постышева, окруженного счастливыми детьми. Но счастливая, то есть расстроганная мать, глядя на плакат, почему-то шепчет: «Действительно, спасибо товарищу Сталину за счастливое детство!» – значит, товарища Постышева уже расстреляли, и на плакате под соответствующим лозунгом теперь сидит товарищ Сталин. И вот в этот рай (жизнь в котором неизвестно до какой райской степени развивалась бы дальше для человека, который не уверен, где у него правая, а где левая сторона) вторгается война. Иными словами, во внутренний мир иллюзий и игр в черное и белое вторгается внешний мир. Рай заканчивается, метафизический страх перед Злой феей отходит на задний план, наступает жизненно реальный страх перед немцами. Страшились не столько бомб, сколько сказочно угрожающих фашистских десантников-автоматчиков, которые в любой момент могут упасть с неба. Пока же на южный город, который расположен не так уж далеко от границы и будет в конце лета захвачен немцами, падают бомбы. Эпизод: жаркий летний вечер, балконы дома забиты коммунальными соседями, семья на семье, всё как в итальянских фильмах. В небе возникает тоненький звук самолета, никакого сигнала тревоги, и вдруг – бум! – сильнейший взрыв, напротив дома упала большая фугаска, разворотила яму, в которую может (как потом окажется) въехать грузовик. Какая тут начинается паника! Люди бросаются к черному ходу, который ведет к подвалам-бомбоубежищам. Но лестницы черного хода узкие, вовсе не приспособлены для такого случая, чудовищная и в то же время с комическим оттенком давка, истерические материнские вопли: «Дима (или Леня, или Бэлла) где ты-ы?!» (Персонаж хоть и мал, но запоминает этот эпизод в юмористическом ключе, что указывает на его многообещающую способность к отчуждению.) Постепенно бомбежки настолько усиливаются, что приходится практически жить в подвалах. Сырость, коптящие свечки, люди семейными кучками, что-то тягостное, унижительное. Будто жизнь в доисторических пещерах. К тому же страх, что дом разбомбят, и все будут погребены под обломками...

...Подвалы были приспособлены под хранение угля и дров на зиму и четко поделены внутри – сперва между квартирами, а затем между соседями по квартирам. Но у нас был свой отдельный маленький подвал, и однажды отец во время тревоги оставил меня там одного. Глядя на стену, я вдруг увидел, что стена начинает двигаться. Почти сразу я понял, что по стене вдоль трубы движется лента из крыс, и замер от страха. Но что было делать? Мальчик,

которому в будущем предстояло стать человеком действия, выбежал бы из подвала, заорал бы, привлекая внимание людей, что-нибудь в таком роде. Но мне не предстояло стать человеком действия, и потому я продолжал сидеть, оцепенев и поневоле испытывая не просто страх, но – коли попадал под его власть на неопределенное время – своеобразное наслаждение страхом. Или, по крайней мере, задумчивость перед его лицом. Вот это последнее обычно не принимается во внимание, когда описываются подобные ситуации, и сюжет кролика или обезьяны, загипнотизированных питоном, трактуется, как правило, однозначно (как у Киплинга в «Маугли»). А, между прочим, напрасно. То есть если речь идет буквально о кролике, который будет буквально съеден питоном, тогда все нормально. Кролик оцепенеет, потом замрет, потом задумается и *издаст писк*, но этот писк не будет никем услышан, потому что кролика тут же не станет на свете. Но с людьми выходит несколько иначе. Разумеется, жизнь многих людей тоже заканчивается так, что они и пискнуть не успели. Но это случается далеко не со всеми (о гуманность человечества!). Не всех человеческих кроликов пожирают человеческие удавы (а также тигры, львы, пантеры, волки и т. д.), и тогда случается любопытное. Кролик, который вместо того чтобы бежать, застыл и задумался, уже не прежний кролик, даже если он этого не понимает. Что-то в нем отмерло, зато что-то другое родилось и, родившись, никогда не уйдет от него. Это что-то другое имеет отношение к упомянутому выше писку, хотя, если мы говорим о людях, которым удалось избежать немедленного заглатывания, у них этот писк может растянуться на долгие годы, так что, может быть, следует найти какое-то другое слово. Впрочем, по размышлении одним словом тут не обойдешься, равно как даже группой слов, потому что речь идет... речь? Опять ошибка: не речь, а то, что служит причиной появления речи, нечто, что невозможно ни описать, ни назвать, о чем только можно судить, исследуя его последствия, и тогда возникают с равным правом полярно противоположные слова, такие, например, как страсть и бесстрашие, жестокость и сострадание, смерть и бессмертие, даже добро и зло – и если мы попытаемся вспомнить, какое же человеческое состояние наиболее соответствует всем этим словам одновременно, то вспомним пушкинского Поэта и заключим, в свою очередь подражая эху: таков и ты, поэт...

...Конечно, я не утверждаю, будто непроглоченный кролик каким-то чудом тут же обретает способность производить искусство. Искусство – это ведь тоже слова (или краски или видеообразы), то есть искусство тоже выступает представителем чего-то, по отношению к чему оно является следствием и частным случаем. Кроме того, если какой-то человеческий кролик проявляет вдруг способность к искусству, кто может доказать, что у него это не от врожденных способностей? Впрочем, и противоположное не может быть доказано: мир людей – это не мир зверей. В мире зверей скачет и пасется огромное количество кроликов, которым никогда не попасть под мертвящий взгляд хищника (иначе кролики давным давно бы вывелись), но что же у нас? Найдется ли среди нас такой дурак (или опять же такой романтик), который станет утверждать, будто существует хоть один-единственный человеческий кролик, на которого хоть раз в жизни не упал взгляд человека-удава? В мою задачу вовсе не входит открытое или подспудное превознесение искусства или даже выделение его как чего-то выдающегося или замечательного – совсем напротив. Приняв за рабочую гипотезу, что искусство является частным случаем (и потому следствием) чего-то, к тому же не отрицая, что таким же частным случаем и следствием того же самого является предсмертный писк кролика, мы можем взглянуть на дело бесстрастно и с куда большей проницательностью. Прибегая к научному способу мышления, возьмем в рассуждение такой отрезок времени, по сравнению с которым протяженность кролика писка и протяженность жизни человека почти неразличимы. Математика часто прибегает к таким приемам, но и гуманистическое мышление тоже (создавая и возвеличивая бесконечную удаленность от нас, ничтожных козявок, некоего всемогущего бога). Действительно, что такое длина отдельной человеческой жизни по сравнению вечностью? Недаром в каком-то

месте Библии говорится, что человек рожден на страдания, чтобы искрой вознестись к небу – годы тут хитро (литературный прием) спрессованы в мгновения, и тогда нет особенной разницы между длиннющим романом наподобие «Войны и мира» и коротеньким писком, *издаваемым в ознаменование просветления насчет человеческой ситуации*. Вот суть дела, до которой мы наконец-то добрались! Вот с какой точки зрения искусство – это не совсем то, за что мы привыкли его принимать. Потому что «просветление насчет человеческой ситуации» – это вовсе не однородное явление, и оно тоже, в свою очередь, растягивается (происходит) во времени, и самое просветление в нем только изначальная ступень, вслед за которой начинается лихорадочный поиск выхода из данной безвыходной ситуации.

Конечно, этот поиск очень понятен по-человечески, и мы должны смотреть на того, кто корчится в этом поиске, с жалостью, состраданием и улыбкой понимания. И так же мы должны смотреть на искусство, которое на самом деле ни на йоту не лучше (и не хуже) кроликообразного человека, оно так же играет всевозможными полярными понятиями, с такой же истинной пассивностью отдает предпочтение то одному, то другому, хотя на самом деле не интересуется ни тем ни другим, и точно так же его истинная задача – создать что-то из ничего, то есть сотворить мираж, чтобы хоть как-то прожить (проскочить) отрезок времени от того момента, когда человек превратился в искру, и до того, когда искра вознесется к небу В Нью-Йорке, в районе новых картинных галлерей в Челси, поперек улицы висит плакат: «Плохое искусство – это тоже искусство» – вот признак современного рационализма, который приближается к истинному пониманию вещей. Тут острота и неострота вместе – самый что ни на есть остроумный вариант. Конечно же, всякое искусство – это искусство, если брать его не с точки зрения результата, а с точки зрения первоначального импульса к творчеству, который есть даже не создание чего-то из ничего, а хотя бы противопоставление ничему чего-то (исходя из собственного состояния жалкости и отчаяния)...

...Я стал так ленив! Жизнь комфортабельна, и трудно заставить себя писать. Конечно, это еще от старости, а жаль... Вряд ли допишу, что хотел, чувство комфорта удремляет меня, и сколько мне осталось жить?..

...В один прекрасный день мой персонаж находит себя на палубе грузового судна, которое отчаливает с грузом эвакуированных. Хотя до этого уже было непрерывное сиденье в темных и сырых подвалах, были немецкие зажигалки, которые упали в нескольких шагах, пока перебежал из одного бомбоубежища в другое, было буквальное и переносное понижение жизненного статуса и связанные с этим унижение и беспокойство духа, но все-таки он продолжал еще жить в мире города, в котором родился и вырос. И, даже, если нежность этого мира изрядно пострадала от войны, все-таки родное гнездо есть родное гнездо. Но с того момента, когда он оказывается на судне...

Впрочем, до этого есть еще один момент. Пока взрослые грузят наскоро собранные вещи в трехтонку, его ведут из подвала в квартиру. Он входит в комнату, в которой еще недавно жил, и, пораженный, умиляется ей. Тут все осталось, как было *когда-то* – такие нетронутые чистота, порядок, красота, благополучие! – а он смотрит на все иными, посторонними глазами. Глазами не только отвергнутого, но и познавшего иную жизнь. Глазами, какими смотрят на чужую жизнь на экране кино, или глазами, которыми смотрит на свою жизнь издавший писк кролик.

Теперь он сидит на расстеленном матерью на палубе одеяле, вокруг незнакомый корабельный запах, который состоит из запахов влажного металла, гальюна и машинного отделения. Он голоден (он еще ни разу в жизни не испытывал чувство голода), мать приносит из камбуза в выщербленной кружке холодную картофельную начинку для вареников. Опять же: он никогда еще не держал в руках выщербленную кружку, никто никогда не позволил бы ему есть

холодную размятую картошку с жареным луком – чудовищно, недопустимо! О да, он понимает, что внезапно его жизнь перешла на иной уровень, но не удручен этим. То самое качество характера, которое мы определили выше как «неуверенность в себе» (у детей оно должно называться как-то иначе – например, пассивной созерцательностью), несомненно, играет тут роль. Равно как и то качество характера, которое подтолкнуло его изобрести игру во взаимозаменяемость добрых и злых фей. Поэтому одновременно с чувством тревоги и неуютности в нем зарождается ощущение, что происходящее сейчас и есть настоящая жизнь и все то, что было до сих пор, несущественно. И в дальнейшем, все четыре года войны и эвакуации, испытывая на своей шкуре в общем-среднем то, что испытывала вся страна (к тому же испытывая все то, что испытывает перемещенное лицо), он ничуть не поколеблется, не возропщет, не зажалеет о прошлом, но напротив, раз проснувшись к жизни, затаится в себе, продолжая глядеть на нее во все глаза...

...Что я помню из бегства от наступающих немцев? До обиды немного. Почему одно (почти все) забылось, а другое (малая толика) запомнилось – чем поразило воображение? Тут разгадка собственной психики: что же поражает ее воображение – главное, увы, совсем не то, что «как в кино» (это было бы успокоительно правильно). Посадка в Ростове на последний пароход (немцы идут с такой же скоростью, как мы, эвакуированные, убегаем), и я *знаю*, что это была чудовищная посадка, что люди брали пароход приступом, что меня передавали поверх голов, и проч. (в кино такие сцены выигрышны), но на самом деле ничего толком не помню. Кроме детали: дядю Мишу так ударили в пах чемоданом, что у него «разошлись швы» (в Одессе его доставили на пароход на носилках после удаления почки). Во время действия, подобного этой посадке, чувства так напрягаются, что пропадают (идея американских боевиков), а с дядей Мишей другое (личное) дело: лицо, искаженное болью, а я его любил. Или другая сцена: ночевка в Мариуполе. Люди шепчутся, что ночью над самым домом пролетел немецкий самолет, зацепил и развалил трубу. Впечатляющая деталь. Еще когда выходили из одесского порта, недалеко от парохода упали две бомбы (немецкий бомбардировщик нащупал нас). Бомбы подняли узкие и высокие столбы воды, и это запомнилось от страха необычной одиночества и незащищенности посреди воды. А вот как-то перебежал с отцом во время воздушной тревоги из одного подвала в другой и рядом с шипом взметнулись несколько зажигалок, так вовсе не испугался: чего зажигалок-то пугаться...

...Да, вот еще кое-что из «неглавного», что запомнилось: штрихи из столкновений с людьми по пути, «другими людьми» по сравнению с теми, кто принадлежал к моему цветочному миру детства. В Сталинграде семья, в которой нас разместили. Девушка, дочь, ласково гладит меня по голове и задумчиво говорит: ну а мы никуда не поедem, потому что дальше некуда ехать. Что-то мне почудилось, что-то резануло: совсем другое отношение к жизни (фатализм?), потому запоминаю. Спустя много лет постоянно (и до сих пор) думаю: что с ней произошло? Конечно, «дальше» сколько угодно можно было ехать, и ничего героического в ее словах не было, но было скрытое противопоставление нашей судьбе, и я, ребенок, это почувствовал. Могу ошибаться, но, думаю, она осталась и погибла во время осады Сталинграда, от которой резонанс на века. Мне хочется так думать, потому что тут моя натура, с этим ничего не могу поделать: все те, кто пассивней меня, выше меня. Я знаю, что это нелепость, но это с самого детства, сколько себя помню. Почему то, что незащищенней, то трогательней? Я согласен с Ницше, что здесь извращенность человеческой натуры... по крайней мере, выкрученность, и я могу сколько угодно на эту тему философствовать, связывая с той самой выкрученной игрой в злых и добрых фей, а также с каким-то изначальным бунтом против родителей... но почему и откуда этот бунт? Если бы еще только против отца, которого боялся и ненавидел за его несдержанность и рукоприкладство, это было бы понятно, но ведь против чего-то совсем другого:

против животной нормальности ведь! Против активности ради близкого и родного (в том числе активности ради выживания), вот ведь в чем штука. Против самого себя в конечном счете. Ненависть к своей собственной активности ума, с которой никогда ничего не смогу поделаться и которая конечно же крутит (основное свойство ума). Ненависть к уму как к таковому?..

...Подарены шоколадные конфеты-бутылочки с алкоголем внутри. Явно передарены, долго где-то лежали, и из многих вытекла начинка. Вот аккуратно разворачиваю серебрянную обертку чтобы не повредить и чтобы спиртное не вылилось: целая операция. Вспоминаю, что вот так же «дрожащими руками» разворачивал в детстве шоколадную бонбоньерку на углу Преображенской и Дерибасовской (гастроном № 1) и раскалывал ее зубами, надеясь найти внутри заветную деревянную юлу (в основном, бонбоньерки были пустые, вот как советская власть занималась «маркетингом»). Тогда замирало сердце, а сейчас автоматическое желание обнаружить вкусный алкоголь – и никакого сердца. Такая же разница, как между зарей цивилизации и ее преклонным возрастом. Однако, это автоматическое, как я назвал, желание – тоже в своем роде тоже довольно эмоциональная вещь...

...Конечным пунктом эвакуации для моего персонажа должна быть маленькая уральская деревушка, засыпанная метровыми снегами знаменитой зимы сорок второго года. Конечно, для местных мальчишек он дразнящая, как красная тряпка для быка, мишень. И потому из нормального любопытства и нормальной враждебности ко всему иному («вакуированный», да еще «яврей»), из коллективного инстинкта «все против одного», из мальчишеского желания поиздеваться его начинают лупасить (после школы). Не так уж всерьез – валят на снег, забивают рот снегом и т. д. Конечно, он напуган и подавлен, но тут должна проявиться его натура: он не пытается отбиться, не впадает ни в ярость, ни в слезы, как это свойственно подавляющему большинству детей, но одновременно – видя, как к нему приближается толпа – не поворачивается к ней спиной, спасаясь бегством. Сердце замирает в страхе, но к месту приковывает еще более сильное чувство упрямства и стыда бежать. И такое странное поведение вызывает у мальчишек неприязненную реакцию, оставляя его навсегда чужаком и одиночкой. Тут же, в одном с ним классе, есть еще один эвакуированный мальчик, тоже, кстати, еврей, но он принят в общую компанию и вместе со всеми лупасит персонажа, в то время как персонажу не суждено лупасить никого ни в компании, ни за компанию (и потому, вероятно, много лет спустя он примется всех вокруг лупасить словесно, вопя при этом, как он одинок – то есть станет писателем, а что с писателей возьмешь, подальше от них, вот и все)...

...или же другими словами: следует из указанных четырех «военных» лет отобрать эпизоды, в которых наиболее характерно проявится тема его «пассивной созерцательности». И показать, насколько эта тема переплетается не только с темой кролика/удава, но и, например, с противоречием/противопоставлением теоретического и прагматического мышлений, идеями определенности и неопределенности, ограниченного пространства и неограниченного, абсурда и логики, упора на среднестатистическое или случайность, трусость/смелость, и так далее и тому подобное...

...В жизни моего персонажа происходят три перемещения в пространстве жизни: эвакуация во время войны, переезд во взрослом возрасте из провинции в Москву и эмиграция на Запад. Несомненно, первое есть самое важное, потому что оно приуготовляет ко второму и третьему. Тут, однако, важно выделить самую идею подобных перемещений, беря ее в российских историческом и культурном контекстах, поскольку в нашей стране такие перемещения часто носят отнюдь не заурядно-бытовой характер. Я с детства привык читать про российских бродяг, и слово «бродяжничество» всегда значило что-то большее, чем заурядное передвиже-

ние на своих двоих. Тут был символ и подспудный грозный знак противостояния государству. Государство не любило бродяг, но опять же слово «государство» означало в данном случае нечто большее, чем просто структуру власти: оно еще означало скрытую черту национального характера, в то время как слово «бродяжничество» означало другую его скрытую черту. Эти две черты дополняли друг друга, они не могли бы существовать одна без другой: если бы одна черта, требующая организованной недвижности, не сдерживала другую черту, подталкивающую к бесцельности и беспокойству, что бы вышло? Такое понимание национального характера входило в меня отнюдь не через госпропаганду, но через народные сказания и замечательную русскую литературу, которая, по сути дела, создала и сформировала то, что я есть на сегодняшний день...

...Вот почему мне первым делом приходит на ум один русский роман на тему противостояния перемещения и недвижности, а именно пастернаковский «Доктор Живаго». Эта книга замечательна тем, насколько определенность и детерминированность судеб людей противопоставлены в ней событийному хаосу революционных лет. Как будто Пастернак хочет сказать: и как, друзья, вы ни двигайтесь, а все равно недвижность пересилит вас, потому что она изначальней. И что же: в конечном счете, действительно, недвижность и детерминированность пересиливают, только не совсем так, как хотелось бы вечному новообращенцу Пастернаку – они пересиливают в лице жестких фиксаций и реалий советской власти, а не церковных догм. Я признаюсь, что «Доктор Живаго» остается для меня особого рода «незакрытой» книгой. То есть книгой, которая еще ждет и требует своего, как принято говорить, понимания. На первый взгляд, эта книга как будто завершает целый культурный период в истории России, то есть скорей книга о прошлом, чем о будущем – гуманистическая книга об «ужасах революции». Но по моему убеждению она бросает вызов любой идее движения, и по одному тому это провокационная книга на все будущие российские времена. В «Докторе Живаго» описывается время Первой мировой войны, революции, гражданской войны и последующих советских лет, то есть время катастрофических передвижений (в буквальном и переносном смыслах) не только отдельных персонажей или групп людей, но целых пластов населения. Согласно роману все эти передвижения по своей природе глубоко враждебны человеку и не приносят ничего хорошего – ни главному герою романа, ни тем, кто эти передвижения приветствует (Стрельникову, например). На первый взгляд, это легко понять: перед семнадцатым годом российская культура (исключая общественный строй) достигла небывалых высот и соответственно создала замечательного человека культуры. Таким человеком в реальной жизни был Пастернак, и таким человеком-литературным персонажем стал доктор Живаго. Куда же от подобного достижения еще двигаться!? Но на самом деле здесь все не так легко и просто. Бурная и скоротечная эволюция русской культуры 19-го и начала 20-го веков (сама по себе напоминающая революцию) тоже ведь была движением, да еще под вполне советским лозунгом «догнать и перегнать!» (Запад, разумеется) – как бы по-разному этот лозунг ни понимался западниками или славянофилами, левыми или правыми, монархистами или народниками (в том смысле, что перегнать материально или духовно). В конце концов, вышло так, что Россия не выдержала этого движения, но автора «Доктора Живаго» эта проблема не волнует. Более того, на уровне не содержания, но структуры романа еврей Пастернак куда более радикален, чем все вместе взятые русские славянофилы, консерваторы, церковные мыслители или просто ненавистники Европы. Истинный писатель всегда говорит о жизни при помощи формы, а не содержания произведения. Роман написан так допсихологично, совпадение событий в нем так жестко детерминировано, фигура морального злодея (адвокат Комаровский) подана так зловеще, что «Доктор Живаго» может быть сравнен только со средневековым, доренессансным европейским романом. Ведь вот у России не было ренессанса, не так ли? Ведь тут у всех у нас (западников и почвенников) болезненная точка, не правда ли? У всех, кроме Пастернака, потому что своим романом он

недвусмысленно говорит: «Возрождение? Какое Возрождение? Нам ничего такого не известно, мы жили и живем в византийском состоянии души и психики, такова наша истинная (глубинно духовная), а не внешняя (социальная, культурная) истина». Это ранний Пастернак мог игриво вопрошать, какое, мол, теперь столетие на дворе, пока он кутит и пьет с декадентами и модернистами вроде Байрона и Эдгара По. Зрелый Пастернак не любит раннего за поверхностность, и для него более не существует никаких байронов и никаких по, а только простейшая христианская символика (слово «простейшая» употреблено в положительном смысле – как простейшая средневековая религиозная живопись).

Вот вопрос: как автору данного романа соотноситься с автором «Доктора Живаго» (и как данный роман должен соотноситься с пастернаковским)? Оценивая ситуацию со стороны, можно сказать, что для самоопределения у автора есть единственная возможность: смотреть на Пастернака, как балаганный уродец смотрит на силача-отжимателя гирь, как потешный у ковра смотрит на летающего под куполом цирка красавца-акробата. Не для того, чтобы угнетаться и погружаться в депрессию, боже упаси, а просто чтобы понимать, что ты есть такое и что такое есть Пастернак. И опять-таки вовсе не в том очевидно частном смысле, кто более талантлив, но в более широком и глубоком, когда, оттягивая петлю на шее, ищут спасения (слово «спасение» тут может быть заменено синонимами, как то: «самопознание», «самопонимание», «нахождение единственной возможности к последнему глотку воздуха», «поиск субъективного взгляда на малоприятную объективность положения вещей» или «поиск объективного взгляда на еще менее приятную субъективность твоего личного положения», и так далее и тому подобное). Роман, который я намечаю, начинается с того времени, которое захвачено и в «Докторе Живаго», и тут возможен был бы соблазн интимного преемствования, хотя на самом деле ничего более ложного нельзя себе вообразить. «Доктор Живаго» как будто завершает определенную эпоху фаустовским вздохом: остановись мгновенье, ты прекрасно... или же это *теперь*, из нашего времени раздается этот непрерывный коллективный вздох-мечта-вопл-сожаление по той эпохе? Жалкий и никчемный вопль! Необходимый рецепт дня: что позволено королям, то запрещено людям дна. Что было хорошо для *них*, смертельно опасно для нас – и *наоборот*. Вот в этом «наоборот» все блистание мира для нас, весь выкрутас, вся ирония – и, конечно же, те самые выход и спасение – так, по крайней мере, понимает автор данного текста (в результате объективного взгляда на себя и свое время).

«Доктор Живаго» описывает время краха русской культуры и государственности, длившихся до того много столетий. (Много? Вполне. Мой школьный учитель математики говорил: все, что больше одного, много.) Но я полагаю, что крах пришел позже. К семнадцатому году действительно многое назрело, и что-то кардинальное в русской культуре действительно достигло кризиса, а только до краха дело не дошло: большевики спасли и продолжили *линейность* существования Российской империи. И построили свое столь удивительно искусственное общество, и сохранили еще на семьдесят лет российскую империю, российское варварство и вековечный психологический «шестнадцатый век» в каком-то особенно чистом виде. А истинный крах произошел семьдесят лет спустя – вот достаточно остроумная российская ситуация, и ее подтверждает стилистика романа Пастернака. Которая совсем не подходит для последней записи на обломках империи, потому что такая запись должна была бы нести в себе отстранение и иронию. Тут следует вспомнить действительно отстраненное и ироническое надгробье на могиле Австро-Венгерской империи: «Человека без свойств» Музиля. Ирония, сарказм и юмор были как раз краеугольными камнями русской литературы девятнадцатого века: чей юмор на Западе может сравниться с юмором Гоголя и Чехова, чья ирония с иронией Достоевского и чей сарказм с сарказмом Толстого? Это была литература, под ногами которой постоянно тряслась почва, литература, замечательная своими беспокойствами и неуверенностями... и вдруг такой *наивный* роман. Нет, «Живаго» был не роман, завершающий *ту* русскую литературу, но роман, по всем своим формальным признакам «пропускающий» ее, забывающий о

ней. Эту сторону романа увидела Анна Ахматова, назвав его гениальной неудачей – да и многие ее видят, точнее, знают. Этот неуклюжий, как будто неумело сконструированный роман обладает, однако, странной силой – и, опять же, не сам по себе, то есть не по качеству своих идей или новаторству формы (как «Преступление и наказание» или «Война и мир»), но только в связи со своим временем. *«Доктор Живаго» был поистине последний имперский роман* (или, быть может, первый и последний). Советская власть была, конечно, хитрее и ловчее Пастернака и пользовалась очень современным (марксистским) сленгом, чтобы установить в России средневековое византийское царство, но Пастернак, наивный, как дитя на заре человечества (определение Марины Цветаевой), действовал напрямую и потому философски выразил и обнажил суть происходящего. Замечательно, как изображена в романе Россия в соотношении с остальным миром, главным образом, с Европой. В русской литературе всегда прямо или косвенно присутствовало это соотношение, как правило, полемичное и болезненное. Никогда Россия не выглядела отдельным от мира островом, никогда! Но в романе Пастернака Россия есть плоский остров, вернее, Земля, как на средневековой картинке. Одно из самых замечательных мест в романе – это переписка доктора с женой, оказавшейся где-то далеко-далеко – так далеко (во Франции, кажется), что жене и эмигрировавшей семье уже нет места внутри космоса (мира) романа. Где-то за пределами России, за Железным Занавесом, установленным Пастернаком, существует, вообще говоря, другой (остальной) мир: Европа, Америка, Азия, Африка, но если читать «Доктор Живаго» и больше ничего не читать, то о существовании этого другого мира трудно догадаться...

...Мир детства моего героя – такая же средневековая картинка. Это мир провинциального южного Города, в котором люди повисают на ступеньках битком набитых трамваев, чтобы проехать две-три крошечные остановки: расстояния здесь растягиваются в сознании людей немыслимо. Мой герой родился и вырос в центре Города, и окраины представлялись ему чем-то отдаленным, смутно угрожающим и, в общем, слегка презренным. Из разговоров взрослых ему запоминается, будто Город окольцовывает наподобие крепостной стены улица под названием Старопортофранковская, а за ней – небытие, тмутаракань, где обитают люди со звериными головами. Но вырастая, он с удивлением обнаруживает, что эта улица проходит всего в каких-нибудь десяти кварталах от его дома. По-видимому, когда-то Город действительно заканчивался этой улицей, но с тех пор много воды утекло, да и улица была давным-давно переименована. Именно то, что улицу в советское время переименовали, помогает его сознанию держать в себе два несовпадающих образа Города: один детский, который остается с ним до конца жизни и постоянно приходит во снах, и другой – бытовой, реальный, куда менее интересный. Как заметил Розанов, люди делятся на тех, в ком живет воспоминание о рае, и тех, в ком нет. Его симпатии были на стороне первых, но он не стал бы отрицать, что сугубо деятельный тип людей принадлежит ко вторым. Этот последний факт весьма существен, потому что тут можно заметить ироническое совпадение характера психологии моего персонажа с характером психологии Юрия Живаго. Но хотя доктор Юрий Живаго до удивления пассивный в личной жизни человек – это одна из наиболее бросающихся в глаза (и даже несколько раздражающих) черт романа, – пассивность его, однако, – это очаровательный символ потенциальной энергии, набранной к тому времени русской культурой: зачем Живаго быть активным, если ему в избытке есть что расходовать? Потенциальная энергия аристократична, она одаривает, а не старается урвать свое, как энергия кинетическая. Пассивность же моего героя должна быть комична, потому что это пассивность людей дна, людей сна (спят те, чья воля скована). Потенциальная энергия доктора Живаго – это потенциальная энергия достигшей зенита русской культуры, но моему герою достается от советской культуры весьма куца потенциальная энергия, и, чтобы состояться, ему следует – другого выхода нет – набирать энергию кинетическую (что по данным его характера не так легко сделать). Трагедия доктора Живаго в романе

«Доктор Живаго» в его постепенном опускании (на фоне опускания его друзей и его страны). Но куда же опускаться людям моего поколения? Следовательно, единственно возможный вариант трагедии для нас – пусть только с эгоистической точки зрения литературных требований, пусть! – это сюжет попытки пуститься против собственной натуры в некое кинетическое перемещение-путешествие в надежде хоть ненадолго подняться со дна...

...Задача ясна: припомнить те эпизоды из своих детских и юношеских лет, которые годятся для образа моего героя... но разве я не это делаю с самого начала? Дружба с соседом по квартире Димой Вайсфельдом, который старше меня на год. Дима – маленький человечек действия, я – маленький человечек рефлексии. Дима доминирует и выбирает, поджав губы, когда мы в ссоре и когда мы в мире. Я помню поджатые губы, но не самые причины ссор, ни одну из них. Дима выбирает в играх быть пограничником, а мне отводит роль басмача. Дима знает, как *представляться*, то есть знает, как выставить себя в своей значительности. Дима начинает заниматься на скрипке, я – на фортепьяно. Захожу к нему в комнату, он стоит, пиликает и даже не смотрит в мою сторону (опять значительно поджаты губы). Мне дается понять: вот, он учится на скрипке, и это куда важнее, чем не только мои занятия на пианино, но и наши игры. И я, скрепя сердце, соглашаюсь: мне же во время *моих* занятий не приходит в голову так важно поджимать губы! Значит, тут на его стороне правда! На самом деле Дима терпеть не может свою скрипку (скоро бросит ее), но надо же утвердить свое превосходство! А я еще долго-долго, много лет не буду знать, что же это такое – утвердить свою волю над другим, всё буду угнетаться своим ничтожеством, своей глупостью по сравнению со всеми будущими друзьями, непрерывно сомневаться в себе, и этот процесс затянется неизвестно до каких лет, оттягиваясь, как тетива какого-то бесконечного лука... Но потом что-то случится...

...Димка Вайсфельд умер несколько лет назад, не выезжая из Одессы, и я горюю по нему, потому что это был родной мне человек, мы выросли вместе почти как братья. Я повидался с ним, когда приезжал в Одессу в 91-ом году, он был толст, ступал косолапо и с одышкой и по-прежнему ласково называл меня Венчиком. Так он окрестил меня когда-то в честь Бени Крика, уж не знаю почему. Тогда я не задумывался, потому что воспринимал это, как насмешку сильного над слабым, но теперь думаю иначе. Может быть, он уже в наши юношеские годы чувствовал во мне что-то «экзотическое», что постепенно отрезало меня ломтем от всего родного, близкого, округлотепого прошлого, и потому нарек именем экзотического персонажа? (Кстати, растрепанные странички «Одесских рассказов» Бабея, что попались нам тогда неизвестно каким образом, произвели на меня отталкивающее впечатление: я принял их за дешевый бурлеск, вот какой у меня был в отрочестве узко-строгий «классический» вкус.) Но возвращаясь к Диме: наши роли начали меняться уже в молодости. На похоронах отца Дима бормотал расслабленным голосом: «Вот, были люди, теперь они уходят, и таких больше нет», – и помню, как меня удивила эта сентиментальная бодяга. Я никогда не замечал с его стороны проявления особенных чувств к отцу, который, бывало, лупцевал его. Между ними было мало общего, отец был «пережиток прошлого», а Димка – марксист по мировоззрению, секретарь комсомольской организации в школе (остался марксистом даже после того, как обиделся на Советскую власть за ее все более разворачивающуюся антисемитскую политику). Конечно, Димка был ушиблен по-человечески смертью отца, *он сдался человечности*. Я же этой человечности никогда не сдавался, и уж тогда тем более, потому-то был так невежественно изумлен. Можно предположить, что я и до сих пор не вышел эмоционально из того состояния, и это чрезвычайно существенно с точки зрения образа моего героя: чтобы двигаться и изменяться, он не должен сдаваться человечности, такова цена...

...Когда мы с Димой виделись в 91-ом году в Одессе, они с женой и дочками жили в небольшой квартире при лечебнице на Французском бульваре, в которой Дима работал нев-

пропатологом. У них были немецкая овчарка (мы оба мечтали в детстве о немецкой овчарке) и кот, и от прохуdivшегося ковра на полу исходил запах кошачей мочи. Этот запах особенно умилил меня доказательством тепла семейного обиталища и окончательной диминой трансформации в мягкого человеческого человека. Эх, и намыкался бы он, если бы по недомыслию попал «ради детей» в эмиграцию! Но, слава богу, умер до того... А вот со мной оказалось иначе, эмиграция дотянула тот самый лук до предела, и стрела была пущена...

...Несомненно, мой герой должен вырасти (как я вырос) в коммунальной квартире, потому что коммунальная квартира была единственным окошком в реальность жизни, которую советская власть практически неспособна была контролировать, хотя она ее сама же создала. (Даже семейную жизнь она контролировала куда с большим успехом, чем квартирную.) Жизнь в коммунальной квартире – это была жизнь, исполненная истинных (как правило, неистовых) человеческих страстей, очищенных от всякой цивилизности и правил приличия. Главное же, вам предлагалась тут модель жизни с открытым концом, то есть с возможностью выбора. (Советская жизненная модель предлагала выбор только на уровне свободы-лагеря, жизни-смерти, и для кого он был пригоден, кроме некоторых ожесточившихся экстремистов?) Коммуналка была нечто совсем другое. Тут был выбор: поставить ли на своем, отомстить ли, предать, написать анонимку, не уступить врагу ни пяди или, наоборот, бесхребетно умиротвориться, плюнуть и простить. В этом смысле коммунальная жизнь по своей психологической структуре была куда ближе к греческой трагедии (или комедии), чем к советскому существованию, и потому мой герой обязан почерпнуть здесь знание людей, а также самого себя, которое окажется особенно важным в его постсоветской жизни...

...Коммунальная квартира, в которой я вырос, была до революции отстроена моим дедом и состояла из восьми комнат, расположенных вдоль бесконечно длинного, в семнадцать метров коридора. Когда после революции пришло время уплотнения, мой дед, как я понимаю, постарался заселить ее близкими и знакомыми, и ему это почти удалось: в квартире жила только одна семья коммуниста Бутвинника, остальные были обыватели еврейского, как и мой дед, происхождения и несоветской направленности. Каждая семья владела комнатой, а нам принадлежали две, что заведомо разделило квартиру на аристократов (нас) и плебеев (всех остальных). Скандалы были часты и ужасающи, квартира непрерывно делилась на враждебные лагеря, коалиции, партии, состав которых менялся в зависимости от тематики последней свары. Что примечательно: не припомню случая, чтобы одновременно возникло три различных коалиции, всегда только две, хотя кто-то мог оставаться на время в лагере нейтральных (из чего я заключаю, что двухпартийная политическая система отвечает каким-то глубинным основам человеческой психики: три лагеря – в этом есть что-то непосильно излишнее и ненужное).

Любопытно, что довоенных скандалов я не помню: неужели и в этой области у нас царил рай? Уверен, что запомнил бы: слишком был изнежен, чтобы не потрястись, как молодой Будда. Вероятно, если и происходили маленькие скандалчики, то не в моем присутствии.

У меня есть странное чувство, что мое представление насчет счастливой «довойны» основывается не только на субъективности детского ощущения. Три-четыре года предвоенной жизни были для всей страны периодом, когда были уничтожены последние неудобные люди, и наступил истинный советский рай. С точки зрения думающих людей, которые все еще способны были критически мыслить и которые помнили прошлое, это было самое страшное и безнадежное время, лагеря были полны миллионов и миллионов людей, а страна была утихомирена, кастрирована и... счастлива. Умирал в отчаянии одиночества писатель Булгаков, умирал герой романа Пастернака «Доктор Живаго», а страна пела «Выходила на берег Катюша», танцевала под танго «Утомленное солнце нежно с морем прощалось», и стихи посредственных поэтов были так же нарасхват, как когда-то стихи Пушкина. Многие критики коммунизма ука-

зывают на то, что гитлеровская Германия существовала всего несколько лет, а советская власть – семьдесят (так же хвастался Геринг, когда его захватили в плен: «Но мы хорошо прожили несколько лет!»). Но если брать по сути дела, то и у советской власти, и у фашистов были одни и те же несколько лет истинной безоблачности – и у тех, и у других в течение второй половины тридцатых годов. Что произошло бы, если бы немцы вместо того, чтобы нападать на Советский Союз (вот дураки!), захватили бы Англию, а потом, вместе с Японией, и Америку и поделили бы с коммунистами мир? Страшно и сладко подумать! Думаю, наша жизнь стала бы еще более райской и наивной, и невинной, и счастливой!

В «Докторе Живаго» отражена наша предвоенная жизнь, но «Доктор Живаго» не идет тут в счет, потому что он написан дореволюционным человеком. Есть два произведения – повесть писателя Балтера «До свиданья, мальчики» и кинокартина «Утомленные солнцем» Михалкова, которые созданы людьми моего поколения, и они ближе к истине, как я ее понимаю. Конечно, Михалков конъюнктурщик, и он вносит от ума задним числом сцены подноготной советской реальности, но все равно летняя атмосфера дачного времяпрепровождения (лето как символ райскости) передает ту же атмосферу безоблачности и содержит ту же ностальгическую ноту, что и повесть честного Балтера. Вот и я помню то же. Наступало лето, по главной улице Города начинали фланировать мужчины в кремовых брюках и белых парусиновых туфлях, и семья выезжала на дачу совсем таким же манером, как это делалось в продолжении предыдущих ста лет: к дому подъезжала полутонна «площадка», влекомая ломовыми лошадьми, на платформу грузили чуть ли не половину имеющейся мебели, включая пианино, посуду, чемоданы и мешки с одеждой, все это тщательно закреплялось джутовыми канатами, и платформа неторопливо следовала через весь Город до Десятой станции Фонтана, где несколько лет, в одном и том же дачном коллективе, снималась просторная, свежевыбеленная комната с террасой, выходящей в большой, запущенный сад. Терраса была обрамлена колоннами, цементный пол ее, покрашенный под мрамор, был в нескольких местах надтреснут, и сквозь трещины прорастала трава.

Моя память разделяет события прошлой жизни, связав жизнь в Городе только с периодом лета и жизни в России только с зимой. На даче постоянно жил высокий и сутуловатый управляющий Николай Петрович с женой и скульптурным физкультурником сыном Котей. Легко положив на загорелые плечи байдарку, Котя уходил утром к морю, чтобы неизвестно когда возвратиться, и я смотрел с восхищением ему вслед. По вечерам, когда спадала жара и мужчины приезжали с работы, люди сидели на террасах, лениво перебрасывались словами и «закручивали крем» (в чашку разбивали несколько желтков, сыпали сахар, растирали чайной ложечкой, пока сахар не переставал скрипеть, потом добавляли изрядный кусок масла, и эту смесь помещали в холодильник, где она загустевала). Ну и конечно, кто-нибудь заводил патефон и ставил «Утомленное солнце». С утра, надев на них белые панамки, детей водили на пляж. Женщины заходили в воду по пояс и затем приседали и вставали, приседали и вставали: таково было их купание (некоторые даже проплывали несколько шагов, барахтаясь собачкой). По воскресеньям появлялся на пляже отец, и тогда купанье приобретало иной оттенок. Далеко в море уходили буквой «т» восемь свай, на которые рыбаки натягивали под водой сети. Сваи эти служили ориентиром для пловцов: говорилось: «заплыть до первого столба», или до второго, или третьего и так далее. Проверить, доплыл ли кто до самого конца, до шляпки «т», было невозможно, потому что еще до того голова пловца превращалась в точку и вообще исчезала. Голова отца исчезала регулярно, мать неизменно начинала волноваться, и ее волнение передавалось ребенку. Но для меня выделенность отца на пляже заключалась не только в дальних заплывах: еще больше на мое воображение действовала манера отца плавать. В те времена люди плавали вразмашку, собачкой или лежа на спине. Отец тоже плыл вразмашку, только каким-то особенным, шикарным манером. Занеся руку перед собой он не совершал гребок, но сперва поднимал руку вверх, а затем уже со шлепком погружал в воду. С точки зрения здравого

смысла эти подъемы рук и шлепки были бессмысленны, нелепы, но разве шестилетний или семилетний мальчик может понимать такие вещи? Для меня тут было еще одно доказательство физической мощи отца и его особенности среди людей.

Отец возвращался после заплыва, мать ругала его, а он только кричал, шел и ложился у кромки воды, так что море, ласково играя, набегало на него. Потом он брал меня за руку, заводил в воду, приказывал встать, расставив широко ноги. С замиранием сердца я вставал, отец нырял сзади, внезапно я вылетал из воды на отцовых плечах, и тут же летел кубарем вниз. Хотя мне было страшно, я просил отца еще и еще повторить прыжок, и отец снова и снова нырял, пока ему не надоедало. Но отец никогда не поощрял и не хвалил сына. Напротив, он как-то стал упрямиться, стал ему на плечи, пока он держит за руки, и уже тогда прыгнуть, но я, хихикая, отказывался, потому что мне было страшно новой высоты. Тут же налетела мать, протестуя, что отец обращается с сыном, будто тот какой-нибудь «взрослый бугай», и отец молча уступил: он был убог и доволен морем и солнцем.

Стояло лето сорокового года, бригады музыкантов ездили в отторгнутую от Польши Западную Украину на концерты, и привозили оттуда для жен и мужей чудесные наряды. Дядя Тоня Вайнер, профессор консерватории по классу виолончели, разучивал с матерью сонату Грига, потом пили чай с лимоном и он рассказывал про красоту города Львова. (В провинциально теплом Городе всех взрослых было принято называть не по имени отчеству, а дядями – и так до собственного пожилого возраста.) Мать не ездила: ее, скорее всего, не пустили, потому что у нее было много братьев и сестер за границей. Впрочем, ей и не нужно было ездить: братья и сестры присылали через торгсин деньги и отрезки на платья и костюмы. Прошлым летом приезжали в гости из Москвы брат отца дядя Гриша с женой тетей Надей, тоже по-особенному какие-то нарядные и веселые и тоже связанные с заграницей, куда дядю Гришу посылали учиться и откуда он недавно вернулся. И опять же я не мог знать, что очень скоро дядю вместе с тысячами и тысячами других молодых специалистов, посланных учиться за рубеж, посадят как шпиона и что дядю я увижу только через семнадцать лет полуинвалидом (к тому времени я стану таким закоренелым антисоветчиком, что отец будет шепотом умолять придержать язык, а я буду только насмешливо отмалчиваться).

Дядя привозит мне заграничный игрушечный автомобиль красного цвета. Это открытый длинный кадиллак, за рулем сидит шофер, а снизу устанавливается плоская батарейка, и машина бежит на ней без конца. Эта машина даже как-то слишком хороша по сравнению с отечественными, и потому я держу ее на отдельной полочке, как дикий трофей и как приманку для игр с другими детьми.

В нерайское время года у меня есть постоянный и прозаический, как жизнь, партнер-соперник по играм, Дима Вайсфельд. Но на даче каждое лето присутствуют две девочки, обеих зовут Лилями, и они вовсе не соперницы. Езда на трехколесных велосипедах по тенистым аллеям дачи, игра в прятки с мимолетными обидами, с разглядываниями и подглядываниями, с осознанием тайны разницы телосложений, всё это среди деревьев, кустов и благоухающих цветочных клумб. Сидя на горшке за японской ширмочкой и разглядывая книжку с витиеватыми картинками длинополых бояр, я испытываю первый раз в жизни эротическое чувство от воображения движений тел под халатами – как и положено в раю, это чувство еще не связано с женщиной, но чистым образом с Формой и Фантазией...

Особенно замечательно справлялись на даче дни рождения, и ребенок, чей день рождения приходился на лето, был отмечен судьбой. (Вот и мой день рождения приходится на лето.) Город был знаменит своей кухней, и приготовления ко дню рождения начинались за несколько дней. Сервировались два стола: один для взрослых и другой – сладкий – для детей. Тончайше, на руках, растягивалось тесто, из которого пекли малюсенькие, тающие во рту пирожки с мясом, печенкой и картошкой, а на сладкое – вертуты с вишнями и абрикосами, благо деревья в саду ломились от фруктов. Фаршировались перцы и кабачки, готовилась знамени-

тая одесская икра из баклажан. Но все-таки вершиной кулинарного искусства были торты и пирожные (так называемая «сдоба», то есть изделия из сдобного теста, хотя и пеклись, но за настоящее сладкое не считались). Из слоеного теста пеклись трубочки, наполненные взбитыми белками, в ступах толклись грецкие орехи на ореховые торты, ну и конечно же, пеклись коржи и варился заварной крем для наполеона. Хозяйки по секрету передавали своим ближайшим приятельницам вычурные, захватывающие дух рецепты новых тортов. Детишки получали к чаю на тарелочках по крайней мере по пяти кусков разного сладкого, и все превосходно съедалось: в Городе не любили худых детей. Еще на дачу заранее завозили контейнер обложенного льдом мороженого, и хотя мороженое к концу вечера изрядно подтаивало, все равно в нем был особенный шик: домашние-то торты были здешним детям не в диковинку. В последнее же лето перед войной отец превзошел сам себя и привез из города кинопередвижку, и детям показали фильм «По щучьему велению»... И вдруг всё это кончилось и началась война...

...Но перед тем, как снова перейти к войне, я хочу уточнить, что все-таки моя довоенная жизнь не вся была рай и что тут решающую роль играли мои взаимоотношения с отцом...

Но еще отступление перед отступлением. Известно, что Пастернак поначалу собирался сделать главным героем «Доктора Живаго» Гордона, да только, видимо, понял, что личность этого человека замешана на комплексе неполноценности, и потому сбросил его на перефирию романа: главный герой должен был быть свободной личностью, и им стал представитель нац-большинства Юрий Живаго – но и этого Пастернаку было мало, потому что его герой обязан был еще быть мифически чисто духовное дитя, у которого есть один/одна родитель/родительница: русская культура. Вот почему, я думаю, Пастернак уничтожил в самом начале романа родителей Живаго и дал ему в наставники мифического и мифологического идеального дядю Николая Николаевича.

С моим же героем все должно быть иначе, и, следовательно, отец должен играть в его формировании доминирующую роль (и именно в борьбе с другой силой: русской культурой, которая направляет его в сторону жалостливого христианства).

...До революции в Городе были дома Стама, пароходы Стама, колониальная торговля Стама, а после революции мужчины из рода Стама исчезли, будто их и не бывало, вместе с ними исчезло и стамовское богатство. Моя бабушка по отцовой линии была дочь Стама, она умерла, когда мне было пять лет, и я ее плохо помнил. Огромную коммунальную квартиру, в которой жили и собачились восемь семейств, в начале века отстроил для собственной семьи мой дед «своими руками» (он был ремесленник, работал десятником у своего тестя).

Когда отец и мать ссорились на накале страсти и с употреблением всяких мерзких слов, отец кричал с особенным презрением: «Эй ты, Малая Арнаутская!», и тогда мать впадала совсем уже в слепую ярость и запускала в отца первой подвернувшейся вещью. Я знал, что Малая Арнаутская – это улица, и, глядя на материнскую реакцию, понимал, что на этой улице было не так почетно вырасти. Я всегда был на стороне матери, но тут репутация ее оказывалась подмоченной, поскольку я уже находился под влиянием провинциальной иерархии где-родился-и-вырос. Мне все это не нравилось: моя мать была красавица, замечательно одевалась, она была пианистка, к ней приходили петь ученицы из консерватории, а кто же был отец, если не всего только торговый работник...

...Но, конечно, мой отец был не просто торговый работник. До революции он был внук богатого негоцианта и, значит, еврейский князь. Как вот были в России грузинские князья, а отец как раз жутко походил внешностью на грузина и тоже в юности гарцевал в Грузии на лошадях, а гораздо позже, напиваясь, танцевал лезгинку со столовым ножом (за неимением кинжала) в зубах. Кинжал кинжалом, лошади лошадами, но я знал, что связь тут глубже, и

именно это бесило меня. Отец был человек звериного темперамента, чуть что – его зрачки бешено закатывались под веки («ууу, животное» с презрением шипела тогда мать), и он давал волю рукам – в разных вариантах. Это был широколицый, смуглый, с сине-черной щетиной и светлосерыми глазами атлетического сложения мужчина, все женщины вокруг падали, а он тут же, сладострастно закатив глаза, валился на них – ни одной не пропускал. Но фиг с ними, с женщинами (я еще ничего про них не знал), а вот в отношении сына воля рук значила одно – пощечины, предваряемые криком: «Молчать! Руки по швам!» Я ненавидел отца с тех пор, сколько себя помню. Это правда, что летом ненависть ослабевала: между нами тогда было гораздо меньше общения. Отец поздно приезжал с работы, и на природе семья превращалась для него как бы в часть ландшафта (он любил природу и, сидя в кресле и прикрыв глаза, с сопением втягивал в себя напоенный цветочным ароматом воздух). Несомненно, летом на природе он был куда более убогоустроенный человек, чем целый год внутри квартиры – как и следует человеку первобытных страстей (как и следует человеку в раю).

Да, совсем другое дело было в квартире, где он был притиснут к семье жерновом ответственности за нее, тут на него ложилось бремя, отвлечься от которого он мог только на работе, и между нами происходила непрерывная и беспощадная битва. Такого рода битвы происходят между танковыми армиями в пустыне (пустыня нужна здесь для того, чтобы все вокруг было выжжено не только артиллерийским огнем, но еще солнцем, и никаких полутеней и полутонов, никаких иллюзий и компромиссов, никаких ни кожи, ни жирка, ни даже мышц, а только голая кость сути дела). Теперь задним числом я думаю, что из нас двоих скорее всего я, а не отец, доводил дело до пустыни и голой кости своей упрямой бескомпромиссностью, но тогда не мог этого понимать, наше противостояние было слишком неравно. Мой отец не был суровый человек, он не имел никакой осознанной цели «воспитать» наследника, и он, конечно же, любил меня. Да и я возненавидел его не просто за пощечины: скольких людей в детстве лупили отцы, а все равно они любили родителя. Тут срабатывали стечение обстоятельств и стечение черт характеров. То есть, конечно, отец хотел сотворить меня согласно своему идеалу (выделить из меня что-то похожее на него самого), но им как будто заведомо владело пессимистическое видение, что со мной ничего не поделаешь... или он полагал, что демонстрируя такого рода видение, он спровоцирует меня на движение в нужном направлении? В таком случае он глубоко ошибался. «Ну что, сыночек – произносил он издевательски, глядя на меня сверху вниз – научишься ты когда-нибудь ходить по земле двумя ногами? Эээ, да что говорить...» (это после очередного доказательства моей негодности к активному участию в жизненной борьбе, моей, маминского сына, изнеженности, и проч.). Такое заявление было по сути беспомощно и заведомо неконструктивно. Вот он стоял, возвышаясь надо мной, как гора, и саркастически расписывался в своем бессилии что-либо поделать со мной, опускаясь таким образом со мной на один уровень, даже ниже меня (поскольку власть была в его руках). Конечно, во мне вспыхивали ярость и ненависть, но кроме того (как понимаю ясно теперь), он полностью терял авторитет в моих глазах: ребенком такие вещи чувствуешь безошибочно. Я с недоумением относился к фрейдистской идее эдипова комплекса, сколько бы ни копался в своем прошлом, не нахожу даже тени его, а вот аллюзия на старозаветные мотивы вполне мне кажется тут уместной: в наших отношениях с отцом было что-то от отношений древних иудеев с их богом, что-то столь же ревностное и столь же исполненное максималистских слов. В каждом отдельном и самом обыденном моем проступке отец видел подтверждение своих эсхатологических насчет меня видений и находил соответствующие образы. До войны по улицам Одессы бродил городской сумасшедший Ися Отливанников, лицо его было перекошено, рот отвален, и оттуда свисала струйка слюны. Нечего и говорить, я панически его боялся, но тут отец взял манеру называть меня Исей Отливанниковым. Стоило мне в очередной раз впасть в неподходящий момент в задумчивость, в рассеянность, проявить застенчивость и пассивное упрямство, он впадал в гневную и издевательскую одержимость и кричал: «А-а, добро пожаловать, давно не виделись,

Ися Отливанников! Ну-ка, пойдی сюда, Ися!» На меня это как-то особенно действовало, даже рука дергалась к лицу проверить, не потекла ли из рта слюна: я всегда понимал, что отец знает обо мне глубинную правду и что я действительно не так уж отличаюсь от Иси – схема моего мышления не отличалась от схемы мышления отца. Но коль скоро я был обречен оставаться тем, кем нарекал меня отец, то я замирал и замыкался в своей обреченности, даже получая от этого некоторое удовольствие: что ж, мол, какой я есть, такой и есть, и ничего другого не жду от жизни, но тебя, отец, я ненавижу всеми силами моей души...

...Сравнение с библейскими мотивами? Мой папаша в роли иудейского бога – вот потеха! Я отношусь к таким обобщениям скептически... Разве что в ироническом смысле? Еврейский бог требует послушания и морали, мой папаша – послушания и чего-то совсем не имеющего к морали отношения, даже явно ей противоположного... И тот и другой взрываются гневом, только мой отец с куда большим пессимизмом, и потому его пророчества звучат, право же, внушительней: пессимизм смотрит дальше оптимизма, по крайней мере, так кажется. Это как с людьми: одни живут так, будто каждую фразу заканчивают восклицательным знаком, другие – многоточием. Первые впечатляют и увлекают, но быстро заканчиваются: дыхание их фраз коротко, потому что жизнь-то явно ставит в конце своих фраз многоточие, и плохое лежит за пределами (далее) хорошего...

...Мой отец был человек удивительной работоспособности (про таких говорят «он горит на работе»), но у него бывали приступы, когда он оставался в постели за полдень, засунув голову под подушку, и так на несколько дней. Много лет спустя, к старости, у него диагностировали маниакально-депрессивный синдром, он стал посещать психиатра и пить таблетки, но я понимаю, что этот самый синдром был у него всегда. Я еще думаю, что это замечательный синдром, потому что он дает возможность одному и тому же человеку жить сперва на уровне восклицательных знаков, а потом на уровне многоточий, и так многообразной чередой... И я думаю: что это значит, когда лежишь целый день, зарывшись головой в подушку, глядя в глубину бездонного колодца жизни, видя ее напрямую, без самообмана и прикрас? Без «клеяких листочков» Достоевского? Полежишь-полежишь, а внутри тебя работа: или кончать с жизнью, или обратно к клейким листочкам. И если не кончаешь с собой, то возвращаешься обратно, как мой отец возвращался, бросаясь на все сто в эмоциональные «иллюзии» сиюминутности жизни. Но так как все равно остается воспоминание о колодце, то боишься и ненавидишь его в многократной степени (и вот мать недаром утверждает с презрительной гримасой: «Он такой пессимист! Такой тяжелый человек!»). Не потому ли отец так яростно нападал на меня, что я своей натурой напоминал ему о колодце, и он хотел себя и меня избавить от этого?..

...Меня снова тянет на иронические обобщения: вероятно, и библейские пророки заглядывали в тот самый колодец, и уж после того начинали рвать на себе волосы и проклипать. В их криках – и обвинениях, и призывах – должен был быть, как и у моего отца, элемент демагогии: можно ли выкрикивать взнуздывающие слова без риска преувеличений? Хорошие учителя или психотерапевты терпеливо выправляют подопечных положительным подбадриванием, да и святослужителям такой подход не в новинку. Но можно ли найти во всей библии хоть малейший намек на подобный подход к человеку? Подумать только, что никто над этим не задумывался! Над тем, что весь Ветхий завет основан на идее кнута и пряника, и что эта идея работает только до какого-то момента, да и то: *как* работает? То есть, конечно, в основе Ветхого завета лежит по отношению к человеку глубокий пессимизм, и оттого ярость и прекрасные видения неосуществимого...

...Мать рассказывала. Когда мне были еще месяцы, я был беспокойным ребенком, много плакал. Тогда отец выносил меня на балкон, грозя бросить вниз, если не замолчу. Неужели он думал, что ребенок поймет его? Представим себе взрослого человека, который стоит с ребенком в руках на балконе пятого этажа, рядом, достигая окон, шелестит листьями клен (потому что, если балкон открыт, значит, на дворе весна или лето), светит солнышко (которое в нашем городе почти всегда светит), и вот взрослый человек объявляет ребенку свой демагогический ультиматум (конечно, демагогический: ведь не бросит же его вправду с пятого этажа вниз!). Это явная нелепость, это «чистое сумасшествие», как выкрикнет мать, но штука в том, что отец находится на грани такого «сумасшествия» почти постоянно. На грани сугубо нарочитых действий вопреки не то что принятым нормам, приличествующим человеку, но самому разуму. Возможно, что мне (с писательской точки зрения) повезло с отцом, особенно если верить во влияние раннего детства на человека (вот в это я верю)...

...Одной из грозящих мне крайних мер наказания было запереть меня в кладовке. Кладовка эта была малюсенькая комната в конце коридора, с мутным стеклянным фонарем вместо потолка (на шестом, последнем этаже по странности конструкции дома не было кладовки). Она принадлежала нашей семье по праву сильного (то есть оставили себе со времен уплотнения) и была предметом зависти и раздоров. Я почему-то страшно боялся кладовки, и, когда однажды отец понес меня туда, стал от отчаяния выбиваться и царапать ему лицо (до тех пор никогда не решался ни на что подобное). Отчетливо помню его лицо ниже моего лица, в крайней близости, и то, что сам ужасаюсь тому, что делаю. Я всю жизнь, до и после того, боялся физической конфронтации с людьми, замирал от страха ударить кого-то (и совершенно не боялся любой стычки, когда таскался по самым опасным районам Нью Йорка с пистолетом в кармане – поди объясни это). По сути дела, я царапал лицо отца в истерике, будь что будет, ожидая чего-то невиданного, что он меня прибьет, что мне смерть. Но ничего такого не случилось. Уворачиваясь, от отнес меня в кладовку и запер там. Мне тогда показалось, что он даже потеплел ко мне – и теперь я это легко понимаю. Его выводило из себя мое пассивно-кроликовое сопротивление, а когда я стал царапаться, то превратился в обычного и понятного ему мальчишку...

...Пример стычки моего героя с отцом в несколько более позднем возрасте. Подросток выходит из подъезда дома с отцом и школьным приятелем. Отец вынимает из кармана яблоко (он любит яблоки и полагает, что они необыкновенно полезны для здоровья) и подает сыну, испытующе взглянув на него. И тут же презрительно морщится, потому что видит, как сыну неловко: ему дали яблоко, а приятелю нет.

– Ешь, ешь яблоко. Отчего же ты не ешь? Стесняешься? Э-э-эхты, тонкая натура!

Так заявляет отец, будто школьного товарища сына здесь вовсе нет. Сын готов умереть со стыда, он чуть ли не со слезами на глазах начинает грызть ненавистное яблоко. (Он возненавидит яблоки только потому, что отец любит их.) Разумеется, здесь дело вовсе не в скупости отца, который не просто общительный, но вообще «на публику» человек. Но в данный момент яблоко – это не яблоко, то есть не угощение, не заманчивый на вид и вкус фрукт, а, во-первых, средство воспитания характера и, во-вторых, источник витамина «железо», которое следует поглощать, по понятиям отца, в огромных количествах (а мать и сын – одна порода! – вовсе не хотят этого знать!). Мой герой давится яблоком, но самое большое унижение для него в том, что он не способен отказаться от него, уронить на тротуар, хоть что-нибудь сделать, страх перед отцом парализует его. Он боится даже помыслить уронить яблоко, потому еще, что в него уже вдолблено рабское отношение к вещам: не разбить бы вазу, не перевести бы продукт. О да, отец напрасно впадает в пессимизм: в каком-то смысле он все равно поработил сознание сына, вбил в него свои понятия. (С авторской точки зрения это даже лучше, потому что, если бы сознание его героя не подверглось с детства порабощению и деформации на манер того,

как это сделано с лицом ребенка-лорда в романе Гюго «Человек, который смеется» или с психологией представителя нацменьшинств Гордона, как бы он сгодился нам в персонажи и антиподы доктору Юрию Живаго? Елки зеленые, если вы в начале двадцать первого века пытаетесь написать роман о делах века предыдущего, кто же может быть ваш герой, как не представитель какой-нибудь так или иначе «отстраненной», «посторонней», «ущербной», назовите, как хотите, группы людей?)...

...Стояла суровая зима сорок второго года. Попад с матерью и инвалидом-дядей в глухую уральскую деревушку под названием Нижние Серьги, я присох сердцем к России и российской зиме. Мы жили в бедной и грязной избе, бабка-хозяйка была вшей на внуковой голове ржавым ножом и тут же резала этим ножом хлеб. Мать бледнела и шептала слова отвращения, но мне ее отвращение почему-то не передавалось. Окошки избы обросли толстым слоем льда, я мог часами дышать на пятак, придавливая его ко льду, пока, наконец, не возникала круглая дырочка в мир. Я глядел сквозь эту дырочку на тропинку между избами (главную улицу деревни), как теперь дети смотрят телевизор. Игрушек у меня не было, но это только к лучшему: фабричная законченность готовых игрушек, как потом понял, сковывает воображение. Думаю, что не мог играть с красным заграничным автомобилем именно потому, что тот был совершенен во всех своих деталях, даже шофер в фуражке сидел за рулем, что же тут было фантазировать, если игрушка предвосхищала и превосходила все фантазии? Но в Нижних Серьгах у меня была только спичечная коробочка, которая превращалась во что угодно от автомобиля до тачанки, от тачанки до танка, от танка до санок. Я был свободен воображать, что хотел, и тогдашние игры запомнились на всю жизнь (в то время как игры других времен улетучились из памяти). Я помню, как тачанка носилась по долинам и взгорьям смятого одеяла, как, прочитав книжку «Серебрянные коньки», я зажимал между пальцами монетки, и монетки тут же превращались в коньки, на которых снова и снова гоняли персонажи книжки. Любопытно, что я играл только в то, что вычитал из книг, между тем как война почти не вторгалась в мир моего воображения. Я следил за ней на взрослом уровне: слушал сводки новостей, какой сегодня город оставлен после «тяжелых боев» и сколько сбито немецких самолетов, рассматривал в журналах профили наших, немецких, или японских, или английских бомбардировщиков и истребителей, а потом, когда появилась бумага, тщательно их перерисовывал. Но это было другое: как будто война была слишком текуща и настояща, чтобы выдумывать на ее тему игры. Мальчишки на улице изображали Александра Матросова, бросаясь закрывать телом доты врага, но я в их играх не участвовал, потому что мне не хватало непосредственности (еще один синоним страха и заторможенности)... Вообще, что касается непосредственных, то есть реальных жизненных мальчишеских достижений, я ими похвастать не мог. Я провел на Урале четыре военных года и так и не выучился толком кататься на лыжах, не говоря уже о скатывании с горок и прыжках со снежных трамплинов (стандартное занятие мальчишек). Нижние Серьги лежали в котловине, окруженной холмами, мальчишки утрамбовывали снежные трамплины, и я вначале тоже пробовал выучиться прыгать, но два-три раза полетел кувырок в снег, и на этом моя спортивная активность закончилась. Мой отец в детстве постоянно дрался, был выгнан из третьего класса Коммерческой гимназии, послан на Кавказ, где вырос среди черкесов и лошадей, так что он быстро повзрослел, в то время как мне по присущим мне робости и страхам пришлось изрядно долго вырастать из самого себя, как из пеленок...

... На следующий год отец забирает семью в Свердловск, он теперь работает на Уралмаше в команде легендарного министра танковой промышленности Исаака Зальцмана. Бешеная рабочая энергия отца находит себе здесь применение: он отвечает за отгрузку эшелонов с танками на фронт – может ли быть дело важнее? И теперь он поистине гарцует на коне судьбы: Исаак Зальцман, человек наполеоновского роста и поведения, знает, из какого сорта

людей составить свою команду. Исаак Зальцман, окруженный свитой, заходит в цех, который не выполнил план, и коротким жестом отправляет весь цех за на фронт: Иосиф Сталин знает, из каких людей составить свою команду. Несколько позже Иосиф Сталин поручает Исааку Зальцману создать танк, который сможет противостоять немецким «тиграм», и такой танк создан, но по-наполеоновски назван «ИЗ». Ошибка! Танк принимает участие в Курской битве под названием «ИС», а ИЗ сослан директором какого-то небольшого завода (справедливо сказано, что у нас нет незаменимых людей).

Но это позже, а пока отец на коне судьбы. Он единственный провинциал среди приближенных к Зальцману московских людей, работа круглосуточна, рекой льется спирт и, конечно, тут же под боком женщины – так что он и здесь король. Однажды он нехарактерно появляется дома посреди дня, приговаривая, что болен. Матери нет дома, и мой персонаж с холодным недоумением наблюдает, как отец насыпает полную ладонь аспирина, забрасывает в рот, затем берет со стола зубами стакан со спиртом и опрокидывает в себя (такова сила вдохновения собственным образом у этого человека, что он выпендривается и без соответствующей аудитории)...

...Нам дали комнату в доме на Первомайской улице, и я проводил свободное от школы и уроков время в читальном зале или бродил с мальчишками по примыкающему к Уралмашу огромному, в два-три стадиона пустырю-кладбищу деталей. Пустырь был однообразно усеян мелкими болтиками, штифтами и пружинками, казалось, он существовал сам по себе, жил своей собственной, независимой ни от кого жизнью (никогда не видел, чтобы с завода сюда привозили что-нибудь, быть может, это была довоенная свалка?). Мы выискивали полые металлические цилиндры, из которых делались «пистолеты»: на дно цилиндра со спичек соскабливалась сера, потом туда вставлялся гвоздь или, еще лучше, штифт, привязанный к цилиндру. Держась за веревочную петлю и производя вращательное движение, мы хлопали шляпкой гвоздя по первому попавшемуся твердому предмету, и, если сера и гвоздь не вылетали, раздавался желанный, хотя и увы, не слишком громкий «выстрел». Разумеется, тут требовались ловкость и удача, оттого-то мы и бродили по свалке с таким упорством. Другое было в школе. Тут мои робость, страхи и неспособность постоять за себя привели к тому, что я окончательно стал униженным рабом. В каждом классе был мальчик, который носил кличку Самого Сильного, и остальные ему подчинялись, хотя, разумеется, во всем были градация, дипломатия и компромисс. Никакой Самый Сильный не смог бы, например, вдруг потребовать, чтобы весь класс отдал ему сегодня школьные булочки. (О, эти школьные булочки военного времени! Кому повезло вкусить их и запомнить до конца жизни их божественно-кисловатый вкус!) Увы, я не часто вкушал эти булочки: на них было слишком много охотников. И если даже не слишком много, хватало одного: Лешки Варшавского, который смекнул сделать меня своим персональным рабом, может быть, по той единственно удобной причине, что мы жили в одном доме. Лешка был хуже, чем любой Самый Сильный: он был мал ростком и по необходимости колко недобр. В его отношении ко мне не могло быть безразличия слона к букашке, он зло презирал меня, как может только презирать один маленький человек другого маленького человека, и торжествовал надо мной в сугубо личном аспекте. Но личного аспекта ему было недостаточно. Малый рост обострил его мысль в направлении поиска Системы Объективных Ценностей и Идеала (букашки тут всегда опережают слонов), а я был Еврей, так что все прекрасно сходилось. Каждый раз, когда он отбирал у меня булочку или давал мне в нос, а я трусливо терпел, он получал доказательство моральной деградации еврейского народа и заслуженности презрения, которое падает на его голову.

Однажды Лешка так увлекся, что фехтуя финкой и нанося мне воображаемые удары (я заслонялся руками, безвольно ухмыляясь), проткнул-таки мне руку, и довольно глубоко. Право же, в моей трусости, я заслуживал ножа. Лешка, хоть и ухмыляясь, но спросил, не нужна ли

помощь (испугался все-таки). Я же, изображая стойка, помотал отрицательно головой и пошел домой.

– Скажешь кому-нибудь, убью – прокричал вслед Лешка, но мог бы и не кричать.

Самым Сильным у нас в классе был Маслов, эвакуированный из Ленинграда. Как он учился, не помню. Про себя тоже не помню – видимо, это было тогда несущественно, если не переходить грань срединности. Но помню: учительница задает какой-то вопрос классу, сосед Маслова по парте встречается, да, да, вот, Маслов просится. Короткое замешательство, короткий удар в нос. Учительница оборачивается от доски:

– Что, Маслов, ты не хочешь отвечать?

– Нет, нет, я иду, – говорит достойно Маслов, вставая и идя к доске, а его сосед между тем, смущенно улыбаясь, утирает кровь...

Но если Маслов был в классе самый сильный, что сказать о Пашкове? Пашков появлялся в школе редко, и когда появлялся, у меня захватывало дух: он был третьекласник и по слухам *уже блатной* (а было это в четвертом классе). Маслов мог быть де-факто премьер-министр, но Пашков был король в отдаленном замке. Вот Пашков стоит у входа в класс, прислонившись к дверной раме, и тайна покрывает его черты. Я гляжу на него с замершим сердцем, думая о смелости риска избранных и вызове, который Пашков бросает всем правилам общества (понимаю, что мне никогда не решится на такое, но идея и вызов западают в сердце). Пашков стоит, прислонившись к дверной раме, и, взглянув на меня, манит к себе. Я подхожу на цыпочках, Пашков говорит, что я отдам ему сегодняшнюю булочку. Я же отвечаю, что не могу, потому что *обязался* отдавать булочки Лешке Варшавскому. Пашков косится на Лешку, который рядом, и Лешка кивает с эдакой ухмылочкой, подтверждая, что, мол, да. И Пашков (может ли всемогущий король поступить иначе) тоже кивает снисходительно: ладно, мол.

О, восхитительнейшая бездна из бездн глубочайших смыслов данной сцены! Тарас Бульба и жид Янкель, мой папаша и Ися Отливанников, униженность и наслаждение униженностью, маленькая сила и наслаждение маленькой силой, большая сила и благодушное равнодушие большой силы. Мне достаются униженность и наслаждение униженностью, но за ними следует придурковатая игра, за которой в свою очередь следует странная, но несомненная свобода я-не-я-и-хата-не-моя, в которой нет силы, но нет и материальности (отобраны булочки)...

...От непрерывной привычки быть преследуемым мое ощущение людей необыкновенно обострилось, пусть даже в одном направлении: будут ли меня бить после школы, или не будут. Верней (и проще): будут ли меня бить после школы сегодня, или обойдется до завтра. Конечно, всякий мальчик для битья тем и возбуждает желание его бить, что он мальчик для битья, так что все тут было нормально и справедливо. Каждый из нас проходил тут школу своей будущей жизни, и с немалой обоюдной пользой. Почти все свободное время я просиживал в читалке, которая помещалась на первом этаже того же подъезда, в котором мы жили. Волшебное время жизни, когда книги не столько «понимаются», сколько оставляют каждая после себя свой аромат, с другой стороны, связанный с затхлым обще-библиотечным ароматом. Или не аромат, а что-то вроде музыкального аккорда. Я помню аккорд от «Гиперболоида инженера Гарина» и аккорд от «Тайны двух океанов» Беляева, но были книги, которые запоминались иначе. Не помню никакого аромата ни от Пушкина, ни от Лермонтова, ни от Толстого: как будто никогда не был снаружи них, но еще до рождения внутри (то есть как будто родился не из материнского нутра, а из них). Своего рода безрадостное, безромантическое чувство осознания мира их персонажей, без которого не смог бы жить. Но не отдавая себе отчета в этом. Тут же случается кое-что еще. Прочитываю в каком-то журнале маленький рассказ американского писателя Колдуэла: штат Виржиния, ферма, летний зной, действие, движения и мысли людей комически замедлены. Все совершенно новое: впервые меня ударяет чисто животное ощущение новизны стиля (роковое пророчество: все новое в моей жизни будет приходить с Запада, все стоящее

русское будет означено словом «было» и ощущению новизны обучить не сможет). Коммивояжер и молоденькая жена фермера: пойдет ли она с ним в кукурузное поле, или не пойдет. Сам фермер, заторможенный болван, туго думает только об одном: есть ли на его жене трусики, или нет. Только об этом думает: еще один Ися Отливанников, охваченный знакомой мне безвольной и инфантильной трусостью. Задним числом вот что странно: эротические сюжеты знакомы мне только теоретически из уличных разговоров, кто-то пытался обучить меня дрочить, но я не понял зачем. Рассказ же насквозь пропитан эротикой, и это сильно действует, хотя в буквальном смысле понятия еще не имею, что такое эротика: доказательство того, что эстетика могущественна и первоосновна, как животный инстинкт...

...Еще об эросе. Сижу в читалке, внезапно ощущаю беспокойство, поворачиваю голову назад: через несколько рядов позади Пашков. Поспешно отворачиваюсь, немею от страха: что он здесь делает? Ясно, что не читать пришел. Пашков и читалка – невиданная вещь! Страх и воображение подсказывают: он здесь из-за меня, потребовать что-нибудь запредельное, выкрасть у матери карточки, например (он знает, как я запуган и унижен). Я постоянно живу как будто во снах, которые раскрывают правду жизни (то есть что Пашков не романтический король, а обывденный злодей). Я сижу ни жив ни мертв, и, конечно же, Пашков громким шепотом зовет меня. Я поднимаюсь, иду, пропал, пропал, ясно: карточки или финяк... Сажусь рядом, у него на коленях «Огонек». Ослабившись, он приподнимает журнал и спрашивает: у тебя, небось, нет такого? Растегнутая ширинка, на ладони красный маслящийся обрубок мяса, через какое-то мгновение понимаю, что его член. Сеанс окончен, я, пошатываясь, иду обратно на свое место. Через какое-то время украдкой оглядываюсь: Пашкова и след простыл. Задним числом комментирую: дурак Пашков, захотелось ему отдрочить, зашел в читалку и тут, увидев меня, решил произвести впечатление. Но ошибся: ничего еще не понимая в иерархии мужских достоинств, я узрел нечто отвратительное и нелепое, низводящее Пашкова с его высокого пьедестала: как может удержаться на пьедестале экибиционист с растегнутой ширинкой? Две вещи понижают людей – деньги и эрос, но эрос еще делает их зачастую смешными... Конечно, возможно было, что я для Пашкова был таким же заманчиво фантастическим существом, каким он был для меня: эвакуированный из какого-то другого конца света «яврей», создание, по всем признакам принадлежащее к иным мирам. Мальчишки особенно чувствительны к «иным мирам», недаром они пели в мои времена про заморскую бригадину, уходящую под косыми парусами в море, и в таком случае наша встреча вполне укладывалась в рамки, установленные Пушкиным в «Капитанской дочке»: странная симпатия-притяжение между Пугачевым и Гриневым, симпатия-притяжение между двумя крайностями огромной страны России. (Вполне роковая симпатия-притяжение, потому что куда как неизбежно она заканчивается глухой ненавистью и кровью: слишком уж велик разрыв здесь.) И слова Пашкова «у тебя, небось, нет такого» звучали в таком контексте не как конкретное сексуальное хвастовство, но как тайное предсказание разности судеб: у тебя нет и никогда не будет такого – неприличия, но свободы, падения, но свободы, часа, да моего. (Насчет часа тут вполне совпадает, поскольку Пашкову суждено было быть вскоре найденным на окраинной улице в явно неприличном виде: раздетым и брошенным околевать на морозе с вполне романтической ножевой раной в груди – так скреплялся пашковской кровью молчаливый договор между нами, договор разности судеб.) И я, будучи в настоящий момент семидесяти лет от роду, прямо признаю черным по белому: все, что я пишу, в каком-то смысле посвящено памяти Пашкова, которого я не забывал все годы моей жизни. Разумеется, это не буквально Пашков, это что-то другое, что невозможно объяснить конкретными словами, но для меня это Пашков... Хочу ли я сказать, что я был бы не я, если бы у меня не было бы той, другой, темной, косноязычной, пугающей интеллигентские сердца России, с которой мы так разны – и именно потому, что мы

так разны, потому что между нами *такая* связь, что общий знаменатель под нами подвластен только Шекспиру?..

...Но возвращаясь к Пашкову и понижению человека эросом. Аналогия: встреча с дядей Сулейманом (так окрестил его мысленно) на базаре в Иерусалиме. Дядя Сулейман сидит в своей палатке, огромный, в белом бурнусе и продает ароматные масла из Саудовской Аравии. В печальных песках аравийской земли три гордые пальмы когда-то росли. Мне несомненно, что масло доставляется из аравийской земли верблюдими караванами, тут и думать не о чем. Я сижу напротив (хочу купить розовое масло для жены, она любит этот пряный запах). На Востоке не принято, чтобы расплатился, взял товар и будь здоров. Здесь усаживаются, пьют кофе, говорят о том о сем, торгуются, и только потом производят сделку. Я уселся и пью кофе, но, разумеется, не торгуюсь, а с замиранием сердца гляжу на человечесью громадину передо мной: вот они, сказки и видения моего детства. Дядя Сулейман медлителен и важен, он разговаривает с ласковой потайной усмешкой, которая создается специфическими движениями рта: сперва рот складывается розочкой, потом расплывается, тут же снова складывается и снова расплывается. Ритм же этого складывания-раскрывания живет сам по себе, не связанный с тем, что рот произносит в это время, что и создает ощущение тайной усмешливости его обладателя. У меня полное впечатление, что дядя Сулейман сейчас расскажет мне про конников с кривыми саблями, про Саладина, про арабскую гордость и проч. (и я с восторгом приму всё-всё). Вместо этого он так же важно и обстоятельно вытаскивает замусоленную пачку писем и начинает показывать их мне. Письма эти всё от женщин из Америки, Канады и Европы, и все женщины шлют трогательные, с ноткой ностальгии, приветы дяде Сулейману. Он зачитывает два-три письма, мне запоминается одно, которым он, кажется, особенно гордится. Это письмо из какого-то городка в штате Огайо, и к нему приложена любительская семейная фотография: женщина, ее муж, дети на лужайке перед скромным типовым домом, невзрачные лица, полные тела, всё по североамериканскому стандарту (муж, должно быть, водитель грузовика или механик, жена домохозяйка или продавщица в магазине по соседству). В письме же женщина превозносит сексуальную мощь дяди Сулеймана, и последняя строчка звучит примерно так: и этот твой длинный... о-о... такой бесконечно длинный... о-о-о... оргазм!.. Дядя Сулейман аккуратно убирает письма, продолжая важно улыбаться. Вдруг я вспоминаю, что точно так же двигал ртом банщик в бане Исаковича на Преображенской (забыл, как звали). Когда он мыл меня, то на движение мочалкой вверх по спине приходились два сжатия-раскрытия рта, и столько же приходилось на движение мочалки вниз (а я, не умея оторваться, следил, понимая, что тут вовсе даже не улыбка, а упражнение мышцами рта). Теперь же, точно так же не в силах сдержать воображение, представляю, как дядя Сулейман на его пути вовнутрь женщины, равно как и на пути изнутри нее, не перестает ритмически упражняться ртом, и в ту же секунду романтический образ его улетучивается, и остается одна потеха: в то время, как я ожидаю от этого болвана чего-то высоко надменного в восточном духе, он одержим сообщить мне низменные подробности своих побед над Западом на уровне западных порнографических фильмов... Эх, дурак, дурак...

...Кстати, вообще: Израиль... Ближний Восток, Палестина. Вспоминаю: начало восьмидесятых годов, три недели с рюкзаком за спиной там в марте. Сперва у Ершковой, Шурик замечательно завтракает: Жанна подает этому царьку густосладкий какао в огромной чашке и хлеб с маслом и халвой. Я, ставший американцем и обученный пить чай без сахара, с изумлением и восторгом раскрываю рот: такая принципиальная верность детству. (Где вы, мои гренки и жареная картошка детства? Да разве я осмелюсь есть их на завтрак хоть бы раз в неделю? Подумать страшно!)

– Пойди сюда, – говорит таинственно Шурик и подводит меня к задней двери дома, выходящей к каким-то зарослям. – Видишь, немного как на «Звездочке», да? («Звездочка» – это дачный коллектив, в котором у его родителей была дача. Значит, что-то вроде моей дачи «Правда»).

Честно сказать, я не вижу здесь ничего напоминающего ни «Звездочку», ни «Правду», но пожимаю неопределенно плечами: может быть, действительно конфигурация вон тех кустов или тех деревьев? Или аромат?

– Здесь можно, вообще говоря, жить, – говорит Шурик, хотя только что он мрачно шутил, что я обманул его, сам поехал в Америку, а ему не объяснил, что к чему.

Я люблю Шурика за его юмор и за то, что он откровенен насчет своих мотивов: получил пожизненное профессорское место в тель-авивском университете, еще когда был в Москве, и знает, что некуда рыпаться (конечно, он уехал бы в Америку, где платят гораздо больше). Какое отдохновение от всех этих наших воспаленных сионистов! На фоне окружающего нас идейного большинства мы с ним, как заговорщики, право. Только из нас двоих Шурик, пожалуй, еще устойчивей в своем презрении к Израилю, потому что принципиально не желает брать в расчет высокие материи.

– Израиль – романтическое государство, – говорю я ему, когда идем по улице, и Шурик так заводится, что даже останавливается для лучшего эффекта:

– Какое такое *романтическое* государство? – презрительно кривя лицо восклицает он. – Это государство, которым правят жулики и авантюристы, неужели ты этого не понимаешь?

Тут он начинает перечислять примеры из денежной и экономической политики, которые принимает к сердцу особенно близко, потому что они близки к его карману. Он так прямо и декларирует со смешком, что там, где его карман, там его сердце, а я что думаю? А я ничего не думаю, только хихикаю внутри себя от удовольствия, наслаждаясь общением с Шуриком. Он говорит мне:

– Ты понимаешь, я трус.

– Как же ты качал тогда права в Шереметьево тогда? Ведь могли упечь!

– А это у меня храбрость на секунду, когда заведусь и впаду в раж. А вообще я трус. Вот мы когда только приехали сюда, пошли на пляж. А тут израильские ребята стали гнать с пляжа какого-то араба. Я возмущился, подошел, говорю, что вы делаете. А они ко мне обернулись, тоже хочешь получить, и я повернулся и ушел, потому что испугался.

Еще мне по сердцу, что Шурик ленив, потому что я тоже ленив. На этом основании Шурик полагает, что, вопреки распространенному мнению, арабы гораздо умней евреев: евреи всё шустрят работать и зарабатывать, а арабы сидят и курят кальян и получают от жизни куда больше удовольствия, потому что знают смысл жизни. Но насчет романтического государства и авантюристов и жуликов я с ним не согласен. Шурика выучила слову «романтика» советская средняя школа, поэтому он упускает некоторые нюансы (ему как физику, а не лирику прости-тельно), и он не знает, что именно романтика и порождает авантюристов и жуликов. Странное это искусственное государство, странней не придумаешь – Израиль. Вон, есть Саудовская Аравия, там религия и мусульманское средневековье, никаких компромиссов, но и никакой романтики. Но евреи разве могут так? У них должно быть и «в следующем году в Иерусалиме», и «как в цивилизованной стране», и вашим и нашим, так, чтобы обязательно между двумя стульями, тогда они в своей тарелке. В своей взбудораженной и взбаламученной тарелке между мессией и Сорбонной (как провинциальный жулик, ныне усопший хасидский цадик Шнеерсон). Что же это такое «в следующем году в Иерусалиме», как не опасная фантазия и романтика? Тут, конечно, все дело в Моисее, в существование которого я свято верю (даже больше, чем в существование Иисуса). Дьявольски, сверхчеловечески умная идея избранничества не могла возникнуть коллективно и постепенно, так не бывает, ее мог произвести только одинокий гениальный ум. Этот ум прекрасно видел, насколько людям свойственно превозносить

свое над чужим и как народы чванятся друг перед другом, и он произвел в этом направлении всего лишь еще один шаг – но какой шаг! Теперь его племя навечно было отделено от других племен двойной и обоюдоколючей проволокой: с одной стороны, иудеи получали метафизическое основание смотреть на других с превосходством, с другой стороны, другие получали основание смотреть на них с подозрением и опаской. Конечно, эта идея должна была оформиться в мозгу Моисея от осознания иудейского комплекса неполноценности (египетское рабство и проч.), но я не хочу касаться этого сейчас, а только романтики иудейского существования и того, во что она вылилась в наше время: государство Израиль. Вон она, квинтэссенция романтики, когда висишь между небом и землей и грозишь весь мир втянуть в свою авантюру...

...Мой герой, пожив эмигрантом в Америке и попривыкнув к западной цивилизации, путешествует в начале восьмидесятых годов из Нью-Йорка в Израиль. С деньгами туговато, набитый битком дешевый charter. Уже в аэропорту давно забытое ощущение эвакуации: пожилые люди с огромными, им не под силу чемоданами (вещи для родственников или возвращаются, накупив вещи?), многосемейные, пахнущие застарелым потом черно-кафтанники ортодоксы, пейсатые хасиды, все толкаются, дышат тебе в спину, наступают на пятки, борьба за каждый миллиметр пространства, зазевался – тебя тут же обошли. «Юнкеры» ли должны вот-вот налететь, или где-то что-то дают и *надо успеть*? В самолете ортодоксы и хасиды в какой-то только им известный момент бросаются в одну сторону (мой герой уверен, что самолет при этом опасно кренится), поворачиваются лицом к Иерусалиму (как они его вычислили?) и начинают, раскачиваясь, молиться. Опять везде запах пота, некуда деться. Стюардесса выкатывает тележку с напитками на продажу, мой герой смотрит с изумлением, как группа молодых израильтян, что собрались в проходе, гогочет и весело растаскивает часть бутылочек, пользуясь тем, что стюардесса отворачивается. (Уже потом, в Израиле, *идеологи* будут объяснять ему, что такое поведение есть продукт коллективистской ментальности сабры, и он припомнит, как много лет назад его друг, ставший потом оголтелым националистом и антисемитом, втолковывал ему, что русский народ ворует потому, что у него нет четкой границы между своим и чужим, и он готов расстаться так же легко и со своим, вот какой святой).

Тель-Авив. Впечатление от чудовищной (хуже американской) безвкусицы частных построек (здесь их громко называют вилами). Америка и Израиль – две страны, где отсутствие вкуса метафизично. Улица, люди уставились на тебя, провожают взглядом, как в Одессе. И одновременно люди идут сквозь тебя, так что надо отстраняться (даже в Одессе этого нет, даже в Одессе люди мягче). Со стороны романтики: девушки и юноши в военной форме и с оружием. Интеллигентные умные лица, сразу ощущение особенности существования здесь. Утренняя уличная сцена: подразделение девушек-солдат у бронетранспортера, умываются, прихорашиваются, всё *matter of fact*, каждодневность жизни, это действует на туристов, вокруг восторженная толпа, какие-то монашенки-француженки, одна заводит хава-нагилу, другие хлопают в такт, образуется круг, танец, сияющие глаза (Европа еще не перешла на сторону палестинцев). Даже мой герой испытывает от этой сцены волнение и трепет сердца. Догадка Ницше (его идеал): страна-военный лагерь, упрощение и прямота психологии. Для европейцев: ностальгическая иллюзорная приманка соединенности просвещенной гуманности (демократии) с простотой бивуака.

Мой герой заводит разговор с владельцами маленьких магазинов, с саброй, с людьми, которые выросли и прожили здесь нелегкую жизнь, и чья речь без всяких высоких слов и идеологий. Эти люди внушают ему уважение – потому, вероятно, что он сам советский шестидесятник и не может без высоких слов и обобщений. Но мог бы он жить с ними бок о бок день за днем? Вряд ли: они в своей ограниченной конкретности «еще хуже» для него, чем американцы, хотя в данный момент он об этом не думает. С другой стороны, разговоры в забегах и кофейнях, неважно, с евреями или палестинцами – что-то освобождающе привычное по

сравнению с Америкой: интерес к внешней политике, вкус к глобальным обобщениям, знание вещей, которые знакомы людям во всем мире, кроме островной Америки. Английский язык у него и у них одинаково ненастоящий, мужчины, глядя вслед женщине: *what ass!* вместо: *what a piece of ass!*

(Как будто все они, да и вообще весь мир – потенциальные будущие эмигранты.) Жизнь бедней, не так насыщена материальностью, как в Америке, от этого тоже чувство освобождающей легкости. (Израильтяне хоть и жадны на приобретение всех самых последних технологических штучек-дрючек, но это у них, как у наших эмигрантов, нищенский комплекс жадно жить сегодняшним днем.)

Мой персонаж путешествует по Израилю. Из Тель-Авива в Иерусалим, из Иерусалима в Хайфу, оттуда по новозаветным местам, что на западном берегу Иордана, фигура Иисуса волнует его, равно как и осознание мест, где начиналась наша, *его* цивилизация. На его воображение действует факт: поднимаешь камень в окрестностях Иерусалима с ощущением, что этим самым камнем, быть может, побивали две тысячи лет назад какого-нибудь грешника. Вместо раскопок здесь всё как бы снаружи (равно как и страсти), и Кумранские свитки найдены не «внизу», а наверху в пещере, куда еще карабкаться надо. Насчет же страстей – и вправду, двух тысяч лет как не бывало. Как только сходишь с автобуса в Иерусалиме – мгновенное ощущение сухого, ждущего своей искры напряжения в воздухе, невозможно объяснить от чего. От того, что весь город будто парит, выстроенный на холмах из легкого, почти белого камня, и воздух его удивительно сух? От пробегающих мимо черных фигур ортодоксальных евреев или клетчатых платков на головах у палестинцев? От тесной уплотненности религиозных границ Старого города, который сам по себе театрально неправдоподобен и в котором каждая религия на страже каждого своего миллиметра? Виа делла Роса и Стена плача кажутся ему декорациями, выстроенными для голливудского фильма на библейские темы. Нарочитость этой двойственности, нарочито отрицаемая всеми сторонами, создает особое напряжение, и это производит впечатление. Он замечает одну особенность: чем дальше от благополучного Тель-Авива, чем ближе к «линии фронта», тем явственней меняется облик юного израильского воина: все ниже становится его лоб, все напряженной взгляд, и вот на территории Мечети на Скале сидят совсем уж мрачные солдаты с автоматами наперевес, оказывается, они даже не евреи, а ненависники мусульман друзья. Выходит, как Рим: разделяй и властвуй. Значит, у него есть свой собственный Рим: израильские патрули, протискивающиеся сквозь узенькие улицы Старого Города, охраняют его жизнь, он чувствует себя под их защитой, тут и говорить не о чем (он с непривычки особенно боится арабских бомб).

Какое странное чувство! И вовсе это не Рим, но что-то куда более недавнее, опять же из кинематографа: немецкие патрули на улицах оккупированных городов. Образ силен в нем, сыне – или пасынке – Второй мировой войны, и потому тоже сильно действует, загоняя еще в одну раздвоенность. Инстинктивная и привычная ненависть к молодчикам с автоматами, утверждающими Господствующую Силу и в то же время осознание своего единства с ними.

Он стоит у Стены плача, с изумлением глядя на спектакль, который непрерывно здесь разыгрывается (по его ощущению стена сделана из папье-маше), затем приближается к узкой крутой лестнице, что ведет к Мечети на Скале. Некто в лапсердаке, угадав его намерение, хватает его за одежду и умоляет не ходить туда, куда вы, ой взй, прости господи, туда совершенно непозволительно ходить евреям! Избавившись от лапсердака, мой герой поднимается по лесенке и оказывается на территории Мечети. Он оглядывается и впервые замечает эстетический контраст, разделяющий евреев и арабов: во всем, что окружает его здесь, тихий и глубокий природный вкус и одновременно нищета. К нему подвертывается тщедушного вида палестинец, предлагая услуги частного гида. По привычке он отказывается, но палестинец канючит, что, если мистеру не понравится, он может не платить, печатный гид ничего не расскажет, и т. д. в таком роде. Мой герой неохотно соглашается, с внутренним смешком находя себя в

роли (читано в романах) странствующего барина, посещающего восточную страну. Романтика, впрочем, на этом заканчивается: палестинец мекает и бекает, ухушенно пересказывая печатный гид, который мистер держит в руках, этот никчемный человек даже не удосужился выучить текст. Он оживляется только когда при входе в мечеть мистер заколебался положенным образом снять туфли (на дворе стоит холодная погода). Тут он начинает бить себя кулаком в грудь и причитать, что арабы честные люди, и никто не украдет туфли мистера. Мистер засмутился, но тут же заметил на лице отвенувшегося палестинца ухмылочку и сразу понял, что и здесь ему была выдана пропаганда и агитация, которых в этой стране не избежать никому. К концу «тура» палестинец, видимо, удостоверился, что мистер теперь не сможет ему не заплатить, и начинает вздыхать и жаловаться на трудность жизни, на подорожание, на то, что «плохо, плохо» (то есть что плохо под Израилем). Мистера это раздражает, потому что как раз с материальной стороны «под Израилем» куда лучше, чем под кем бы то ни было в окружающих странах, и палестинец знает это не хуже мистера. В том, что палестинец выбирает так дурновато и с таким пренебрежением к реальности жаловаться на Израиль именно с этой стороны, есть что-то угнетающее и одновременно что-то необыкновенно характерное для всего, что здесь происходит. Что-то, указывающее, что конфликт здесь никогда не разрешиться на рациональной основе. Мистер расплачивается в кофейне, как было условлено, и дает чаевые, но араб снова канючит, выпрашивая еще и еще денег, ссылаясь на количество детей и так далее и так далее... В конце концов, мой герой резко отказывает ему и выходит из кофейни.

Узаконенное искусство нищенства на Востоке вызывает в нем то же неприязненное чувство, что и искусство защиты от антисемитизма у евреев. Чем дальше он идет по жизни, тем больше иссушается в сторону западного индивидуализма и тем меньше Восток терпим для него. Проба и испытание: беседа с молодым палестинцем, продавцом на базаре. Тот, как здесь положено, заводит разговор с целью заманить покупателя – узаконенные правила игры. Мой герой с неприятной (потому что провокационной) улыбкой желает разбить правила игры и заявляет, что с удовольствием поговорит, но покупать ничего не будет. Разумеется, пожимает плечами палестинец, потому что не верит честному индивидуальному слову, но верит в общую человечность (но не знает, с кем имеет дело). Мой герой заходит в палатку, мальчик приносит на маленьких коромыслах две чашечки турецкого кофе, они беседуют о том, о сем, например, палестинец недоумевает (ему пишет родственник), почему владельцы магазинов в Америке с такой легкостью увольняют служащих. Ну, может быть, они хотят нанять кого-нибудь, кто лучше справляется с работой? – спрашивает мой герой с той же неприятной улыбкой. Нет, этого палестинец понять не может. Ну, есть же люди, которые работают хуже, а есть, которые лучше? (На этот раз вопрос с упором и некоторым раздражением.) И опять араб (и, видимо, искренне) мучительно морщит лоб и не понимает. Мой герой начинает прощаться. «Может, купишь вот это?» – спрашивает араб. Нет. Ну, может это? Тоже нет. Ну это? Но ведь я же предупредил *с самого начала*, что мне ничего не нужно! Но хоть это? Хоть *что-нибудь* как же можно не купить? На лице араба мучительное непонимание. Мой герой испытывает смешанное чувство неловкости и торжества. Но твердость и торжество побеждают, и он поворачивается спиной к палестинцу: мол, пусть отныне знает, что такое западный человек.

В автобусе из Иерусалима в Хайфу Остановки, поля. Пассажиры сходят и садятся, по-прежнему страх перед каждым арабом: что если у него в пластиковой сумке бомба? На сиденье позади пожилая пара, говорят по-немецки, усталый вид, пьют воду из фляги, заходящее солнце вдоль поля в окна автобуса. Простая одежда, культурные лица: те самые кибуцники, первое поколение, легенда и волшебный момент истории. Кант и Гегель на книжной полке, крестьянская работа, ничего лишнего. Но поневоле на основе расового государства: неизбежное стечение истории, что они могут поделать с судьбой? Хайфа, как Ялта, и ярусами над морем – прелестный город. Очередной дешевый отель, комнатка, очень пожилой портье, говорит с некоторым акцентом по-русски, на лице постоянная скептическая усмешка, сколько таких лиц

в Одессе. Рассказывает притчу: в следственной тюрьме сидит вор-цыган, обход полицейского начальника, за что сидишь? За сионизм. Такой вот дореволюционный меланхоличный провинциальный анекдот. Много видел в жизни, чего еще ждать, кроме грошовых чаевых от моего героя, сравнительно молодого человека из богатой Америки (у молодого человека еще есть шанс).

Подъем на самый верх, весь город оттуда, как оперный театр с галерки, лазурная бухта вместо сцены. Католический монастырь, телефонная будка у калитки выломана и исписана по-английски антиклерикальными ругательствами: дело рук еврейских ребятишек, ничего нового, та же напрямую друг против друга враждебность, с которой сталкиваешься здесь с первого дня. Монашек-англичанин, вздыхает: что делать, слабый всегда страдает. При всей враждебности к малолетним хамам, невольная усмешка: это католическая-то церковь – слабость? О круг внутренней «честности» человека, из тебя не вырваться. Снова внизу, автобусная остановка, объявлена угроза теракта. С воем подлетают два специальных джипа, автобусы очищены, поиск бомбы. Светит солнце, красивая девушка-солдатка сидит на бордюре цветочной клумбы, устало: *fucking Arabs*, и в одно мгновение ее лицо огрубевает. Лицо государства Израиль.

Экскурсионный гид в Иерусалиме об арабах презрительно: а-а, другая ментальность. Путь из Хайфы на Западный берег в арабском автобусе. Палестинки повязаны платками, как русские бабы. В автобусе тесно, везут кур, даже ягненка, во всем бедность, о да, другая, то есть другой уровень бедности, это уж точно – напоминает СССР. До сих пор мой герой как человек, по-прежнему не научившийся ходить по земле двумя ногами (где-то теперь его папочка?), думал о новозаветных местах абстрактно, и вдруг он осознает, что едет именно к этим людям, а не в какие-то сфантазированные «христианские» места. Неуютно: оставил на свой страх и риск привычный западный мир и иерусалимские патрули позади. Объявлен Назарет, выходит из автобуса и остается в полной черноте внезапно упавшей ночи. Забыл, как это бывает: улица без единого уличного фонаря. Им овладевает паника: что наделал, будто какая-то сила охмурила (и не в первый раз в жизни). Нашупывает рукой стену, что тянется вдоль дороги, и направляется в сторону гостиницы, указанную шофером. Мимо него из ниоткуда и в никуда метеором стайка детей с бумажными фонариками в руках, какой-то праздник, скоро пасхальные дни, но ничего не понятно. Опять один, ощупью вдоль стены. Внезапно в стене освещенный провал в столь характерную, уходящую внутрь глубоким параллелепипедом арабскую лавку. Бесконечные фигурки распятия, хозяйственная утварь, крупы, специи, одежда. Группа людей внутри лавки молча, без американских улыбок, смотрят на него. Он приближается и спрашивает, как найти гостиницу. Ему указывают в том же направлении. Затем следует характерный для Востока разговор: кто ты, откуда пришел, куда идешь, есть ли жена, сколько детей. Пришел из Нью-Йорка? Кто тебе купил билет? Сам купил? (Не верят.) Но я же работаю. Билет всего 600 долларов? Не-ет, здесь дороже (признают неохотно, может, сам купил). Зачем уехал из Советского Союза: Советский Союз – это справедливость, а Америка – несправедливость. Забыв о чувстве неуютности, прищуривается на палестинца: каким же образом? А вот каким: в Советском Союзе у всех одинаково понемножку, а в Америке одни бедные, другие богатые. Ловит воздух ртом: иди, докажи, как на самом деле, но знает, что доказать невозможно. Вспомнил: арабы-христиане все голосуют здесь за коммунистов. А что же: если бы жил здесь, может, голосовал бы за коммунистов просто, чтобы выжить. Но все равно не выжил бы: сошел бы с ума от бессильной ярости на обе стороны. Между тем продолжение опроса: а почему в Назарет? Потому что христианские места. Зачем тебе христианские места, ты же еврей? Мне ближе христианство, но если вы пойдете убивать евреев, пойду с евреями, придется идти. На этот ответ палестинец даже моргает, не ожидал, а мой герой чувствует, что пустился в дешевые сентименты. Допрос окончен, палестинец помоложе провожает до гостиницы. Гостиница, портье заспан, надменно рассматривает паспорт. Американский паспорт – еще худшая рекомен-

дация, чем еврейское лицо: одно дело – смертный спор между двоюродными братьями, другое дело – американский империализм, далекий в безликой мощи своей материальности и глубоко враждебных ценностей. Ночь в гостинице, кроме него никого, сезон еще не начался. Дверь номера на неплотном крючке, уборная далеко по коридору, неудобно: ведь можешь исчезнуть, и косточек твоих никто не обнаружит. Под утро дверь начинает стучать, поднялся сильный ветер, высунулся в окно: желтая мгла, тот самый, готовый свести с ума монотонностью самхин из пустыни. Тут же с непривычки кровь из носа из-за песка. Но вот утро – улица, кипарисы и мальчик с фаюмскими глазами навстречу (и сразу пронзающее сердце воображение: а что, если вот так же две тысячи лет назад навстречу тебе мальчик Иисус?). Город, базар, сточное углубление посреди улицы, выложенное еще в римские времена, с тех пор ничего не изменилось, все так же текут помои. На базаре беззубый грузинский еврей в последней стадии бедности продает сношенные скороходовские туфли. Мой герой потрясен этим человеком, он вообще не знал, что в Назарете есть евреи. А как же, мы живем там (кивок влево на холм – взгляд скользит по зелени и упирается в комплекс домов). С презрением: а что же, тут что ли жить, с арабами? Отметая рукой (в данном случае, израильское правительство): мы им показали, что такое грузинские евреи, они не знали, с кем имеют дело, мы им такие демонстрации устроили. Дали хорошие квартиры... А вы откуда, из Нью-Йорка? Важно: у меня есть знакомый (называет имя-фамилию), не слыхали такого? Он знаменитый человек... богач. Когда прилетает в Нью-Йорк, сразу подадут лимузин. (Слово «лимузин» выговорено особенно, явно никогда не видел, только слышал.)

Тивериадское озеро, ресторан, столик прямо у воды, жареная «рыба св. Петра». Озеро темное и бурное, другого берега не видно. Опять то же пробирающее знание, что вот эту самую костлявую рыбу ловили и *они*. По берегу идет куда-то, растянувшись, толпа палестинцев, вылитые наши цыгане. Вдруг девушка со жгучими глазами и скользящей походкой отходит от толпы, приближается к нему, видимо, притянутая любопытством, не сводит глаз, улыбается. Подать бы знак, вот она, почти рядом, страшно шелохнуться, оцепенел: та самая, из мечты. Дикость и воля, чего еще желать, совершенно «Бегущая по волнам». В голове мгновенно фантастический, нереальный сюжет из голливудских фильмов, но по-прежнему не способен на знак. Она удаляется – уходит судьба (да разве ж в первый раз?).

Последний день в Израиле. Иерусалим, праздник Пурим. На улицах дети с трещотками, кажется, самый воздух наполнен треском, что-то вроде барабанного боя у африканских племен, всеобщее торжествующее возбуждение. Не просто праздник, как он привык к праздникам, но единение в торжестве победы над врагом – реальной победы над реальным врагом, прямолинейная экзальтация. Мальчишка в автобусе, вплотную к водителю-арабу прямо ему в лицо поет по-восточному протяжную воинственную песню, отбивая ритм рукой. Водитель молча ежится: в данный момент истории он побежденное лицо, ему терпеть. Повернись следующий момент истории наоборот, и качаться бы этому мальчишке на дереве, как сыновьям Амана, в этом ни малейшего сомнения.

Итак, вывод моего героя. Самое основное, к чему он еще и еще возвращается: ощущение двойственности – театр и реальность, нарочитость и первобытные инстинкты, конец двадцатого века и первый век нашей эры. Сочетание дрожит перед глазами очевидца, как пустынный мираж, как урок трагикомического действия. Театр гротеска, театр сатиры, подделывающийся при помощи крови под непререкаемую серьезность. В воздухе веселый пессимизм коллективности, который намекает на предощущение коллективного конца. Такой веселый пессимизм мой герой часто встречал среди людей, и ему всегда казалось, что в этих людях как будто навсегда захлопнулась форточка в многоточье неопределенности будущего и человеческих надежд. Как будто понарошке (или по предопределенности судьбы) израильские евреи снова в ситуации, когда их окружает внешний враг, так что возможность единичности судьбы и шанса на экзистенциальную свободу, выработанная европейской цивилизацией, опять для них невоз-

можно. Мой герой вырос в Советском Союзе и сполна познал советское «враг снаружи», которое не идет в сравнение ни с каким другим. Советская жизнь, как осуществленный на земле рай (тоже спектакль?), но гораздо хуже, то есть «лучше», потому что совершенней с точки зрения искусственности. У человека там полностью отобрано понимание трагичности жизни, на Ближнем востоке оно только девальвировано. Ближний Восток обетонил промежуточность жизни в самоцель и самоконец, ее текучесть, эластичность, неопределенность превращаются в памятник самим себе, не оставляя никакой надежды на недостижимое всеобщее, на мираж, который однажды возник в этих местах и охватил весь мир. Тут происходит то, чего мой герой более всего не выносит: иллюзорное целое разбилось на частности наподобие того, как это делается в Америке, только без интеллектуальных теорий Жака Дерриды, на уровне коммунальной квартиры. Каждая частность выходит на бой с другой частностью, каждая ущербность с другой ущербностью, кто из них ущербней и невинней...

...Но возвращаясь к хронологии, к годам войны. Что еще стоит припомнить? Отдельные моменты, характеризующие «жизнь наоборот» (потому что война есть жизнь наоборот, и в ней есть черты безотрадного карнавала). Еще в самом начале эвакуации, в конце сорок первого года первые дни в Свердловске. Барак, в котором живут соседи по одесской квартире Грудские. После войны лютые враги (думаю, и до войны не слишком друзья), они пускают нас к себе, мы живем в их комнате. Екатерина Самойловна Грудская, огромной толщины женщина, всю свою жизнь страшно, невыносимо воняет (одна из причин послевоенных скандалов). Причина ее вон: никогда не моется или какая-то болезнь? (Впрочем, если не моется, все равно болезнь.) Так никогда и не узнал, так и осталась ее вонь для меня метафизической тайной (мать говорила что-то насчет «неправильного обмена веществ», но, думаю, это ерунда). Мы все, человек шесть-семь, спим рядком поперек кровати, которая занимает по ширине всю комнатку (кровать эта, очевидно, доска, покрытая одеялами). Значит, если спим с Екатериной Самойловной почти под одним одеялом, значит, переносим вонь, значит, не смертельно? Зачем же после войны зажимать носы и оскорблять ее (это я в адрес моей матери и дяди, которого, кстати, боготворил всю его жизнь)? Муж Екатерины Самойловны (его звали Шулем, отчества не знаю) был, несомненно, мерзкий человек, и, несомненно, он писал доносы «в органы», что у нас родственники за границей, но тем не менее. То есть я даже не знаю, не стал ли он писать доносы после того, как оскорбили его жену, природа человеческих страстей иррациональна. Но вот вопрос: что для человека «нормальней» – сосуществовать, притихши, как кошки с собаками в «будке» (так называли в Одессе грузовичок-клетку, который разъезжал по улицам, отлавливая на мыло бедных животных), или вольно собачится, как собачатся коты на крышах домов?..

...В сорок четвертом году в огромной пустой витрине «Гастронома» в Свердловске лежит одно коммерческое пирожное эклер. И я помню цену: пятьсот рублей. Может быть, пятьдесят (поскольку потерял отсчет советским деньгам после стольких девальваций). По крайней мере – пятьсот или пятьдесят – какая-то до абстрактности неслыханная сумма. Но отвычка от пирожных еще сильнее – смотрю на пирожное, как на вещь из другой реальности. Между тем у нас во время войны были свои лакомства. Первым делом, мед, стопленный с маслом и шоколадом. Мать сварила эту смесь еще перед отъездом, и мне выдавалось в день по чайной ложке (хранилась смесь в молочном бидоне, уровень ее все понижался и понижался, пока бидон не становился пуст – что-то из сказок Андерсена). Когда мед с шоколадом закончился, мы уже были на Урале, и на Урале главным лакомством были самодельные леденцы из жженого сахара (я даже сам научился их делать), но они были из яви, а не из сказки. Потом появились американские консервы, которые открывались не консервным ножом, а специальным ключиком, который накручивал на себя металлическую ленту по окружности банки, и вот являлась тебе похожая на холодец ветчина. Я, когда приехал в Америку, из любопытства и по бедности купил

в супермаркете банку такой ветчины, но не смог ее есть – а ведь первое время эмиграции было немного как военное время (в смысле страха перед непривычным миром и безденежьем). Но во время войны эта ветчина была истинное лакомство: быть может, она была лучшего качества, не такая соленая? Мне ужасно хочется этому верить...

...Из моментных мыслей: маленькие грязные секреты творчества. Я все время ввожу свой возраст и слово «старик». Я выбрал эту стилистику «якобы записок» не только потому, что это дает мне большую свободу разброса и смены интонаций, но еще потому что, перестав надеяться на то, что меня станут читать в современной России – а ведь согласно тому, как я понимаю современную Россию, меня и не должны там читать, но логика это одно, а желание совсем другое, – я соображаю, что в моей родной стране обычно куда больше любят покойников, чем живых, и особенно обожают читать мемуары или дневники – в этом какая-то некрофильская меланхолия, соответствующая русской психике, – и я решаю подделаться под вкус этой психологии, чтобы меня хоть после смерти читали. Мне приходится выдумывать стиль под дневники – в этом какая-то извращенность. Которая мне, кстати, не проходит даром, потому что, пристариковываясь, я вхожу в роль, и мне начинают сниться удручающие околomoгильные сны. Да и не только сны, и днем тоже... да что говорить...

...Я помню день взятия Одессы вот как. В тот день (или вечер?) мы играли во дворе в лапту, и, скользя ладонью по земле, я напоролся на стекло (или острый камень?) и глубоко поранился, шрам светится бледным углом до сих пор. Прибежал домой, рука поднята вверх, кровь течет, и в это время по радио Левитан объявляет о взятии Одессы. Тут (то есть, несомненно, мать уже перевязала мне руку) я сентиментально дрожащим голосом заявляю: вот, взяли Одессу, и я в ознаменование поранился! Почему запомнил этот момент: каждое событие в отдельности (взятие Одессы и разорванная ладонь) вовсе не запомнились бы, если бы не мой высокопарный голос, закрепляющий их – ннно (Розина пальчиком вверх!), ннно почему и чем закрепляющий? Несвойственной мне сентиментальной выпренности, вот чем! Я потому и запоминаю, что говорю как бы не своим голосом, мне несколько неловко даже – и *это я* запоминаю на всю жизнь, и с ним все остальное – а спросите меня, какого числа и в каком месяце взяли Одессу, или спросите насчет каких-нибудь других моих шрамов, и окажется, что понятия не имею. Таково, по-видимому, свойство интровертной психики, и мне, выкормышу советской системы, если бы не обладать интровертной психикой, какой был у меня шанс стать сперва антисоветчиком, а потом самостоятельно мыслящим человеком? Ннно опять же: на что именно интровертная психика реагирует – ура, на внутренний конфликт! Задним числом понимаю, что выпренный тон был мне чужд и неприятен еще в далеком детстве, так же как и теперь (моя сутулость, создавшаяся на Урале, несомненно, была моя физическая защита не только от окружающего мира, но и от выпренности). А тут я вдруг произнес что-то не своим голосом, будто актерствуя, вот и врезалось в память...

...Интровертная литература должна быть завязана узлами внутренних конфликтов, а не натуралистическими деталями. Второстепенные писатели этого не понимают и потому в наши дни упирают на секс, между тем как секс только той своей стороной пригоден для искусства, которая есть одна сплошная фантазия (особенно, если она недостижима). А так что с него взять. Только если конфликт, только если что-то не то. Например, ну что с того, если бы я стал описывать период своих мальчишеских мастурбаций? Но упомянуть связанное с этим постоянное чувство вины, о да, в этом есть смысл – я ведь жил в такие далекие времена, когда мальчишки верили, что от онанизма на ладони могут вырасти волосы, не говоря уже о прочем вреде для организма и моральной стороне дела: боже, какую борьбу я вел с собой, какие клятвы ни давал больше не дрончить, как только ни каялся внутри себя, ну просто вылитый Блаженный

Августин я был тинэйджерского возраста! Подумать только, как изменился мир за мои семьдесят лет, иногда кажется, что я прожил тысячу лет, право! Куда более завлекательное время было, человеку было куда идти внутрь самого себя, а что же теперь, в особенности здесь, где я сейчас живу, в Америке? Путь внутрь здесь совершается по размеченной терапевтической линейке и с сугубо практической целью, никакой тайны, никакой выдумки, фантазий, иллюзий, никаких предубеждений. Как вот молодые люди получают теперь образование сугубо с целью получить хорошо оплачиваемую профессию... оно и раньше так было, но не так абсолютно, и еще оставались неопределенность и туманность чего-то «общего», что было вне прагматики, и вот уже нет этого общего...

...Конечно, это общее была иллюзия, и подчас очень даже вредная, тут и говорить не о чем, конечно же *на самом деле* людям нужна профессия и ничего больше, но при всем том человек странным образом был «больше» тогда, если так можно сказать. Я не знаю, чем именно он был больше, а только знаю, что был. Точность самознания укоротила человека, а не углубила его, вот такая странность – и это, по сути дела, очень и очень грустно (понимал ли это Гегель?)

...

...Я, отдрочив, выходил из уборной и заходил в комнату, а там сидел дядя Миша, который взглядывал на меня, и я понимал, что он *знает*, и у меня обрывалось сердце. У меня было два мужчины в детстве и отрочестве, но только одного я любил до боготворения, маминного брата Мишу, потому что он во всем был противоположен отцу. Тут я вот еще к чему должен вернуться: к еще одному доказательству, что до войны был рай. Образ довоенной жизни Одессы сильно совпадает с эстетикой голливудских романтических, очень даже райских кинокомедий тридцатых и сороковых годов с Бингом Кросби и Фредом Астером, и не только потому, что и там и там кремовые брюки и вычурные штiblеты, но потому что и там и там общность элегантного с налетом веселой жлобоватости стиля. (Утесов в «Веселых ребятах» тоже примерно такой.) Подо всем основа: легко на сердце от песни веселой и счастливые концы. Кто у кого взял, Одесса у Голливуда или Голливуд у Одессы – это тайна (потому что, если Александров и Утесов могли смотреть американские фильмы, Одесса ведь не могла). И Голливуд не мог «смотреть» Одессу, даже если среди голливудских заправил вполне были наши выходцы. Нет, тут именно тайна времени. Дядя Миша и его друзья, элегантные дэнди с Дерибасовской, их жесты, их шуточки-подначивания, их улыбки. Дядя Миша еще был игрок, покерист. Однажды (после войны) даже ездил в Москву, где в гостинице «Москва» у него был матч с каким-то московским знаменитым покеристом. И на photographиях (я показываю жене, и она согласно кивает): высокий, худощавый на манер Гарри Купера джентельмен со мной на плече (я, конечно, в матроске). И когда он улыбается, во рту сбоку сияет золотой зуб, и этот зуб для меня – особенный признак элегантности (даже сегодня, закрываю глаза, вижу Мишину улыбку – и то же ощущение класса, вся моя интеллектуальная ироничность не может ничего поделать с этим). Он очень меня любил и, в отличие от отца, он был человек выдержки. Никогда не забуду эпизод. Он стоял с приятелями на углу Дерибасовской и Преображенской, опираясь на трость (только что у него удалили из почки камень), а я, увидев его издали и страшно обрадовавшись, ринулся к нему и ударился об него, как это делают дети. Мгновение назад на его лице была обращенная ко мне та любящая улыбка, к которой я привык, и тут она сменилась ужасной, отвратительной гримасой боли. Сердце мое замерло, я отступил, глядя на него с отчаянием. Набежала мать, говоря, что же я наделал, глупый мальчишка, но меня ее причитания не коснулись, я глядел на Мишино лицо. Я прямо говорю, потому что убежден в этом: меня сковал не только ужас перед дядиной болью, но мне показалось, что на его лице промелькнула ненависть, и что больше мне не видать его любящей улыбки. Я стоял и ждал, глядя на его лицо, а он стоял, сморщившись и собрав все силы в борьбе с болью. И вот прошло время, боль ослабла и тогда он снова мне заулыбался, и мой разрушенный мир снова был восстановлен.

Я думаю, что моему отцу постоянное присутствие рядом дяди Миши не очень было по душе: он должен был знать, какой у него в моих глазах соперник. Но это тайна, которую он унес с собой. Однажды только что-то такое показалось. Как-то, желая скрытно выразить любовь к дяде и ненависть к отцу, я исписал школьную линейку (мы, мальчишки, часто так делали): Михаил Александров. Отец увидел и взбеленился, что я испортил линейку, и сломал ее. В этом, впрочем, не было ничего для него особенного, но мне показалось, что на этот раз он как-то резче взбеленился, чем в другие разы. Теперь у меня сжимается сердце болью за отца: конечно, Миша был ему, как говорят, божье наказание, и так на долгие, долгие годы. С другой стороны, неистовство отца было таково, что оно должно было затоплять и покрывать с головой подобные мысли, если они у него возникали отчетливо... но это, повторяю, тайна, которую он унес с собой.

Любопытно, как всё совпадает с тем, что я только что говорил об определенности реального подхода к жизни и о неопределенности фантазий. Ненависть к отцу делала меня весьма проницательным по отношению к нему реалистом, и вот сегодня, когда во мне нет больше ненависти, отец в моем воображении практически не изменился, хотя теперь я оцениваю его как фигуру почти эпических масштабов. Любовь же к дяде Мише сотворила из него мифическую фигуру, и с неохотой и тяжестью на сердце я признаю сегодня, что в реальности он был, может быть, более заурядный человек. Я знаю, почему так говорю: золотой зуб во-первых, и улыбка провинциального пижона во-вторых. В-третьих, мать как-то уже в моей эмигрантской жизни, зная, что я боготворил Мишу, пыталась показать мне давнее Мишино письмо к ней, а я только глянул на его каллиграфический с провинциальными вычурностями почерк, только схватил несколько слов, написанных бедным, с обывательскими условностями языком, так и отвернулся внешне равнодушно, но про себя с упавшим сердцем и пустотой разочарования в душе. (Ведь этот его почерк был когда-то для меня тоже признаком его сверхъестественности!) Теперь, прохаживаясь по бордвоку на Брайтон Биче и вглядываясь в такие безошибочно узнаваемые лица моих братьев одесситов, особенно в лица тех, кто, вне всяких сомнений, прошвыривался в свое время по Дерибасовской в кремовых брюках (ведь я их знаю, как себя самого!), я так часто вижу Мишин зуб и Мишину улыбку, так часто-часто вижу... эх, что тут говорить. Я и отцово широкое лицо тоже вижу, но это другое дело, ведь я никогда его не возвеличивал и не превращал своей фантазией во что-то идеальное и сверхъестественное. Однажды, имея при себе фотоаппарат, я попытался сфотографировать одного из таких бывших одесситов-пижонов (стояла зима, он был облачен в роскошное зимнее пальто с шалевым воротником, ну, там соответствующие брючки, шарф, одним словом, крем-брюле, Пале Рояль, кафе Фанкони). Я стал подбираться к нему (обычно снимаю широкоугольником, чтобы обманывать людей, мол, интересуюсь кем-то или чем-то рядом с вами), но тут номер не прошел: шалевый воротник был насторожен, все отворачивался или как-то еще уклонялся от видеискателя. Я понял, что он раскусил меня и мне не светит переловчить его. Тогда я прибегнул к лести и стал говорить ему, какое у него интересное лицо, а я фотографирую просто для себя, как свободный артист, ну и тому подобное. А кроме того, мы ведь оба одесситы (в том, что он одессит у меня и сомнения не возникло, что, по размышлению, потешно само по себе). Тут он мне и говорит эдак хамски враждебно: если ты одессит (я, между прочим, обращался к нему на вы и я отнюдь не был моложе него), чехо же ты ховорышь «одэссит»? *И чехо ты нацепил эту немецкую шляпочку?* Последнее с шляпочкой потрясло меня, потому что заставило вспомнить сразу всё, все мои счета с Одессой. Черт побери, что особенного было в моей невзрачной шапке, купленной по расхожему каталогу L. L. Bean'a? Ведь мы же все-таки не на Приморском бульваре стояли, ведь он же прожил какое-то время в Нью-Йорке, значит, хоть как-то соприкоснулся с миром за пределами Одессы?? Но он, несомненно, вычислил меня с не меньшей проницательностью, чем я его, и потому взял такой враждебный тон. Он вычислил меня с той особенно развитой интуицией, которая свойственна всем провинциалам мира, на малейший даже отте-

нок отклонения от их нормы, их понимания нормальности: я был в его глазах мерзкий ренегат *с претензией*, вот кто я был такой. Одесситам эта интуиция свойственна особенно сильно, потому что Одесса была не просто провинция, но столица всех провинций: Одесса была город пижонов, искусство выёбывания здесь было в крови, а пижонство и есть квинтэссенция провинциализма. С точки зрения Шалевого воротника, я со своей шапочкой, своим фотоаппаратом, своей интеллигентской вежливостью зашел слишком далеко в области выёбывания, и – признаюсь тут же – он был прав! То есть я, разумеется, действительно фотографировал, и моя интеллигентская вежливость была и вправду непритворна – тем хуже для меня! Нельзя удаляться от родных пенатов так далеко, в этом есть какое-то извращение, а всякое извращение есть бумеранг: между его шалевым воротником и моей «немецкой шапочкой» была связь, от которой мне никогда не избавиться: я был в молодости одесским пижоном и я умру одесским пижоном – и если не так, то почему я так завидовал всю жизнь скромной спокойности северных людей, почему в юности всё пытался выложить свои волосы, чтобы они не курчавились?

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.